

ДОЧЬ. ТОЛСТОГО ОБ ЕГО УХОДЕ И СМЕРТИ*

ВОСПОМИНАНИЯ Т. Л. СУХОТИНОЙ-ТОЛСТОЙ

Предисловие Б. С. Мейлаха

28 октября 1910 г. 82-летний Лев Толстой тайно и навсегда покинул Ясную Поляну, где родился и которую так любил. А вскоре он тяжело заболел и умер на маленькой железнодорожной станции Астапово.

Весь мир был потрясен этими событиями, и до сих пор не умолкают в литературе споры об их причинах. Не мало было ложных и противоречивых версий «ухода Толстого»,

* Воспоминания Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой (1864—1950) появились в печати в Париже на французском языке в дни, когда отмечалось столетие со дня рождения Толстого (журнал «Еurope», 1928, № 67, от 15 июля, стр. 395—472. В 1960 г. они вышли в Париже отдельным изданием). На русском языке воспоминания печатаются впервые. Перевод выполнен Екатериной Васильевной Толстой. По свидетельству автора, статья была задумана вначале для русского читателя, для «русских братьев и сестер», однако сохранился ли и существовал ли вообще ее русский подлинник — установить не удалось. Впрочем, не вызывает сомнения, что замысел статьи возник много ранее 1928 г. и, если не написана, то во всяком случае подготовлена она была еще до отъезда Татьяны Львовны за границу в 1925 г. На это прежде всего указывает характер статьи, построенной почти целиком на документальном материале из семейного архива Толстых. В те годы материал этот в большей своей части оставался неопубликованным, и работа над статьей требовала непосредственного обращения к источникам.

Татьяна Львовна пишет, что поводом для ее выступления в печати послужил выход в свет нескольких работ, посвященных семейной драме Толстого и дающих, по ее мнению, «неверное и пристрастное» объяснение этой драмы. Действительно, вопрос о взаимоотношениях Толстого с женой и причинах его ухода из Ясной Поляны стал предметом широкого обсуждения в печати вскоре же после смерти Софьи Андреевны (1919). Одна из других появились тогда брошюра В. Г. Черткова «Уход и смерть Толстого» (1922); IV том биографии Толстого, написанной П. И. Бирюковым (1923); книга А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого. Дневник 1910 г.» (1923) и ряд журнальных статей, как-то: «Правда о С. А. Толстой» О. Волжанина в «Вестнике литературы» (1921), «С. А. Толстая» и «Еще о семейной драме Толстого» Н. А. Соколова (1921) в том же журнале и др. Даты этих работ в свою очередь указывают на более раннее, чем 1928 г., происхождение статьи.

Статья Татьяны Львовны насыщена многочисленными отрывками, выдержками и цитатами из сочинений, дневников и писем как Толстого, так и С. А. Толстой. Но, помещая свою работу в «Еurope» — журнале общелитературного характера, рассчитанном на широкого читателя, Татьяна Львовна не снабдила свои цитаты точными ссылками на источники. Кроме того, приведенные ею документальные материалы даны, как правило, с неполными и неточными датировками. В отдельных же случаях датировки вообще отсутствуют.

В настоящей публикации цитируемые материалы снабжены нами датами и ссылками на источники. Эти сведения вынесены в примечания.

Перевод статьи был сделан Е. В. Толстой без обращения к первоисточникам. Все встречающиеся тексты Толстого, С. А. Толстой и других были даны в обратном переводе с французского языка. Этот недостаток устранен, восстановлен подлинный русский текст цитируемых документов. Купюры, сделанные Татьяной Львовной в цитатах, отмечены нами тремя точками в угловых скобках.

Помещая статью, мы исключили из ее текста несколько фраз, обращенных специально к французскому читателю, например о французской транскрипции фамилии Толстого, объяснения слов «телега», «юродивый» и т. п.

Ред.

фантастических «догадок», реакционных легенд. Были попытки доказать, что уход означал для Толстого отречение от обличительной деятельности и возвращение к церкви, что решение уйти было вызвано предчувствием смерти; другие указывали на внутрисемейный конфликт и «дурной характер» Софьи Андреевны как на основную причину; третьи уверяли: Толстой ушел, подчинившись влиянию друзей, и прежде всего Черткова. Эти версии были основными в дореволюционной русской литературе о Толстом, и до сих пор они продолжают распространяться в книгах и статьях многих критиков на Западе. Кроме этих версий, существуют и другие. Вопрос об обстоятельствах смерти писателя продолжает волновать своей неясностью миллионы читателей во всем мире: от его освещения зависит правильное представление о конце жизненного пути Толстого, об итогах духовной эволюции мыслителя. Между тем этот вопрос только недавно стал у нас предметом научного исследования. Возможность беспристрастного анализа последнего периода жизни Толстого наступила только теперь, когда достоянием ученых стали многие ранее недоступные материалы, когда завершено полное 90-томное собрание сочинений писателя, в которое входят также его дневники и письма. Углубленное освоение нашим литературоведением статей В. И. Ленина о Толстом создало методологическую основу для освещения жизненного пути, а также наименее изученного последнего этапа идейно-творческой биографии писателя.

Причины ухода Толстого очень сложны и могут быть поняты лишь в результате всестороннего анализа не только всех обстоятельств, которыми он был вызван непосредственно, но путем изучения проблем, связанных с эволюцией мировоззрения Толстого и влияния на эту эволюцию глубоких процессов русской жизни. Все, что нам известно теперь о Толстом, позволяет опровергнуть реакционные, клеветнические выдумки и всякого рода попытки буржуазных критиков доказать, что Толстой к концу жизни «смирился» и что уход из Ясной Поляны был вызван стремлением «раскаяться», «вернуться в лоно церкви» и т. п. Точно так же ложны утверждения о том, что Толстой «уходил умирать». Уход был вызван сложным переплетением причин социальных и личных, причин, обусловленных прежде всего обострением духовной драмы писателя, усилением кричащих противоречий его взглядов под влиянием бурно развивающихся событий русской жизни. Уход Толстого ни в какой степени не был вызван стремлением «раскаяться» в обличительной деятельности; это был поступок протестанта, опровергавший его же многократные заявления о том, что не следует изменять внешних условий жизни, что нужно нести «тяжелый крест» испытаний, которые являются лишь материалом для «самоусовершенствования» и «внутренней» «духовной работы»*.

В литературе, посвященной уходу Толстого, русской и зарубежной, особенно часто выдвигался в качестве главной определяющей причины семейный разлад в доме Толстого. Единственная в «толстовиане» книга, специально посвященная теме ухода — «Уход Толстого» Черткова (1922), — во всем обвиняет жену писателя. На тенденциозность этой книги указал еще М. Горький в своем очерке «С. А. Толстая». В книге есть и другая тенденция, также неверная: Чертков как толстоовец, более ортодоксальный, чем его учитель, утверждает, что уход был актом религиозным, логически вытекавшим из религиозно-нравственного учения Толстого. Но пафос книги — в обличении Софьи Андреевны. Между тем одностороннее освещение ее роли в «яснополянской трагедии» является, разумеется, столь же недопустимым, как и существующее в литературе одностороннее освещение роли Черткова как «главного виновника» «яснополянской трагедии» роли, о которой читатели знают из недавно переизданного дневника В. Ф. Булгакова и из воспоминаний других современников.

Хотя, как я уже упоминал, уход Толстого был вызван целым комплексом причин, преимущественно социально-исторического характера, в числе этих причин семейный разлад сыграл весьма большую роль. Это засвидетельствовано многими признаниями самого Толстого в его дневниках. Замалчивание этой темы, игнорирование ее в исследованиях может принести лишь вред, так как оставляет читателя в плену ложных пред-

* Причины и обстоятельства финальных событий биографии Толстого рассматриваются в моей книге «Уход и смерть Льва Толстого» (М.—Л., 1960).

ставлений о причинах ухода Толстого и о корнях семейного конфликта, всякого рода легенд, которыми так обильна литература о Толстом. Но и семейный разлад можно понимать по-разному, поскольку в его возникновении и развитии можно видеть разные мотивы — органические и случайные. Поэтому, не преувеличивая удельного веса внутрисемейного конфликта, важно иметь о нем правильное представление. Естественно, что при этом приходится обращаться к мемуарам тех, кто были непосредственными свидетелями происходящего, и прежде всего к мемуарам родственников Толстого, членов его семьи. Однако эти мемуары не только не равноценны, но иногда дают совершенно превратную картину «яснополянской трагедии».

В «Очерках былого» сына писателя — Сергея Львовича — мы находим наиболее беспристрастное изложение событий и освещение той ожесточенной борьбы вокруг завещания, которая отравила его отца последние месяцы жизни, а другой сын — Лев Львович — рисует все в искаженном свете. Лев Львович, бывший идейным противником отца и выступавший против него в реакционной печати, в то же время был также одним из главных виновников «яснополянской трагедии». Весь свой пыл он направил на то, чтобы заставить отца уничтожить завещание, по которому его сочинения становились после смерти «общим достоянием», а не источником дохода для семьи. Завещания этого Лев Львович никогда не мог простить отцу: в своих мемуарах он утверждает, что Толстой ушел из Ясной Поляны будто бы потому, что понял ошибку с завещанием, из-за этого его замучила совесть! (С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956; Л. Л. Толстой. В Ясной Поляне. Правда о моем отце и его жизни. Прага, 1923).

Необъективную, неверную картину «яснополянской трагедии» дала и Александра Толстая, которая, хотя и была в истории с завещанием на стороне отца, однако настолько обостряла со своей стороны ситуацию борьбы, что даже вынуждена была впоследствии признаться в этом. «Ты уподобляешься ей», — сказал однажды Толстой Александре после одного из эпизодов, когда она дошла до предела в своих требованиях, чтобы отец даже в мелочах противостоял ее матери, в то время совершенно потерявшей власть над собой. В книге «Отец» Александра Толстая пишет: «Я видела, какая непрестанная борьба шла в душе отца (...) Я не жалела, а сердилась... А насколько было бы легче отцу, если бы мы, его близкие, жалея мать, могли со смирением и любовью отнестись к ней» (Нью-Йорк, 1953, кн. 2, стр. 338, 373)*.

Запоздалое признание! Участники борьбы, возникшей в последние годы жизни Толстого в его семье, забыли, что их главнейший, священный долг — заботиться о спокойной обстановке для него, создать атмосферу теплоты, внимания, оберегать от излишних волнений. «Они разрывают меня на части», — писал Толстой в «Дневнике для одного себя» 24 сентября 1910 г., когда увидел невозможность воздействовать на обе стороны, чтобы устранить ажиотаж, возникший в связи с завещанием (т. 58, с. 138).

Публикуемые ниже воспоминания старшей дочери Толстого Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой выделяются стремлением объективно воссоздать семейную обстановку, которая явилась одной из причин ухода отца. Эти воспоминания представляют для нас огромный интерес; перед нами попытка разобраться в обстоятельствах «яснополянской трагедии». Попытка эта сделана непосредственной ее наблюдательницей, которая, в отличие от ряда других лиц, занимала тогда позицию наиболее объективную.



Прежде чем говорить о сильных и слабых сторонах публикуемых воспоминаний, скажем кратко об этой позиции автора.

В то время как братья Татьяна Львовны Лев и Андрей всячески восстанавливали против отца свою мать, преследуя исключительно материальные цели — погоню за правом на литературное наследство отца после его смерти; в то время как Александра Толстая, полагая, что она защищает интересы отца, утяжеляла обстановку, бдительно следила за его «непримиримостью» к матери и не желала считаться с тем, что болезнь

* Следует отметить также, что, говоря в названной книге об общественных взглядах Толстого, А. Л. Толстая (руководительница белоэмигрантского «толстовского фонда» в США) доходит до прямого их искажения, пытается использовать имя великого писателя в реакционных целях.

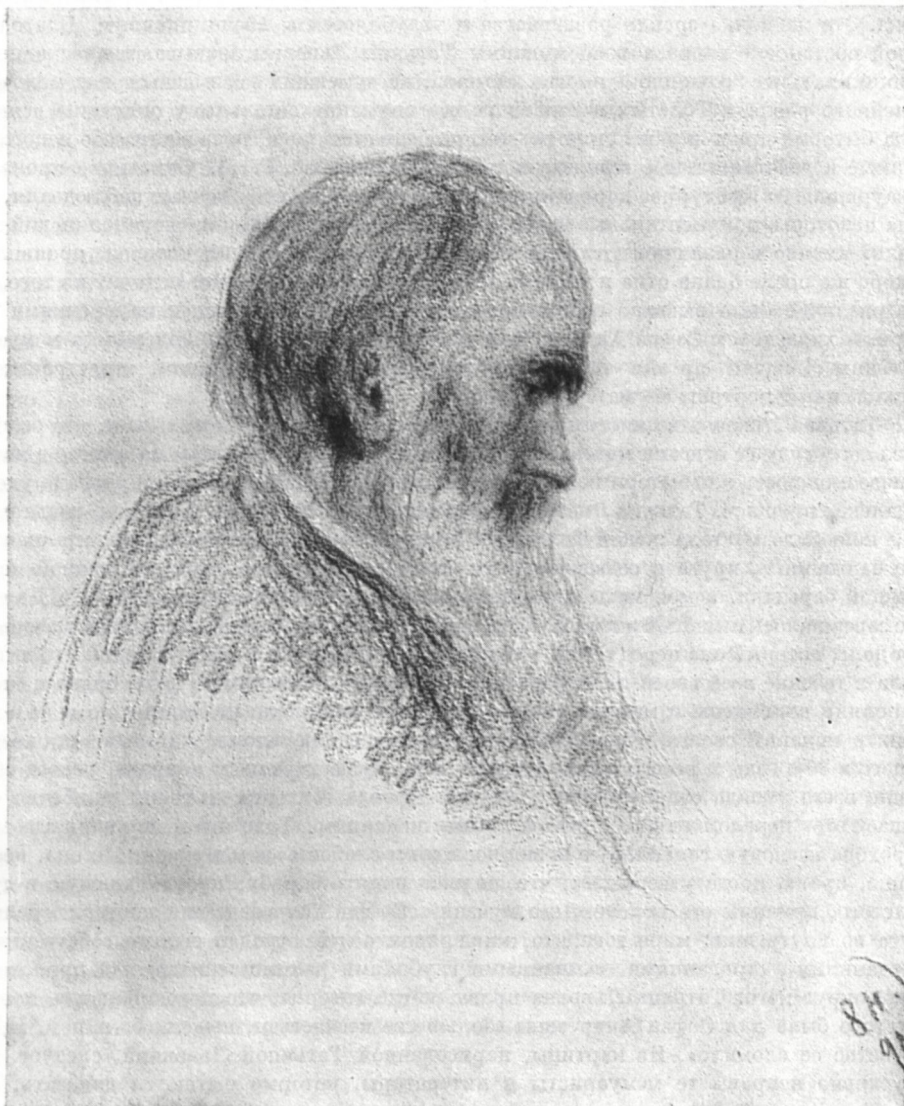
матери — истерия — довела ее мнительность до крайних форм проявления; в то время как все сильнее разгоралась борьба «партии Софьи Андреевны» и «партии Черткова» — старшая дочь писателя делала все возможное, чтобы как-то облегчить положение. Татьяна Львовна жила не в Ясной Поляне, а в имении своего мужа М. С. Сухотина Кочеты. Но и в дни своего пребывания в Ясной Поляне, и в письмах к членам семьи Толстых она не раз говорила о недопустимости возникшей распри, призывала и братьев, и мать понять, что они совершают тягчайшую ошибку, отравляя последние годы жизни Толстого. 2 августа 1910 г. Толстой записал в дневнике: «От Тани письмо прекрасное. Она, бедняжка, за меня страдает» (т. 58, с. 86). В этой записи подразумевается письмо Татьяны Львовны к сестре Александре, полное беспокойства за судьбу отца, вынужденного переносить созданную матерью и двумя братьями — Андреем и Львом — невыносимую обстановку. Пыталась Татьяна Львовна воздействовать и на мать. Признавая, что Софья Андреевна отдает много сил заботам о внешней стороне яснополянского быта, Татьяна Львовна просит ее, однако, обратить внимание на необходимость изменить самое существо отношения к Льву Николаевичу: «Спросите у него хоть раз в жизни, что ему дороже: все внешние блага жизни или то, чтобы вы приблизились к нему душой и не заставляли бы его страдать видом разных насилий, ни на что и никому не нужных? <...> Ему, приближаясь к смерти, все тяжелее и тяжелее жить в тех условиях, где из-за сука, взятого без спроса, незнакомый дикий молодой черкес ловит старого знакомого папá и любимого им мужика *. А, главное, папá, любя вас, страдает оттого, что вы можете делать такие дела и допускать их у него на глазах. Вы страдаете, когда ему еда плоха, стараетесь избавить его от скучных и трудных посетителей, пьете ему блузы, — одним словом, окружаете его материальную жизнь всевозможной заботой, а то, что ему дороже всего, как-то вами упускается из вида. Как он был бы тронут и как бы воздал за это сторицей, если бы вы так же заботливо относились к его внутренней жизни. Мне представляется, что вместо теперешнего страдания ваша жизнь могла бы быть такой идиллией, что вы оба радовались бы на нее <...> У меня так за вас сердце болит...» (АТ. Цит. — т. 58, с. 405).

Глубокое возмущение вызывала у Татьяны Львовны позиция братьев Андрея и Льва. «Это неслыханно, — писала она Андрею, — окружить 82-летнего старика атмосферой ненависти, злобы, лжи, шпионства и даже препятствовать тому, чтобы он уехал отдохнуть от всего этого. Чего еще нужно от него? Он в имущественном отношении дал нам гораздо больше того, что сам получил. Все, что он имел, он отдал семье. И теперь ты не стесняешься обращаться к нему, ненавидимому тобой, еще с разговорами о завещании» (В. Ф. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957, стр. 42—43).

Наконец, Татьяна Львовна пыталась наладить отношения между Софьей Андреевной и Чертковым. Она ездила с этой целью к нему, говорила с ним. В сентябре, не без ее влияния, Чертков написал Софье Андреевне письмо, в котором предлагал восстановить между ними обоими «если не полное согласие во всех убеждениях, зато взаимное уважение и доброжелательство». Но Софья Андреевна, совершенно не желавшая считаться с тем, что Толстой видел в Черткове своего ближайшего друга и помощника, не могла простить Черткову его бестактного вмешательства в жизнь семьи и осталась непреклонной. К тому же ее подозрения в том, что тайное завещание существует и что инициатором его является будто бы Чертков, исключало всякую возможность примирения...

В результате все попытки Татьяны Львовны воздействовать на обе стороны практически ни к чему не привели. Но Толстой постоянно ощущал нежную любовь, заботу, глубочайшую тактичность дочери. «Милая Танечка», «милая, милая Таня», — называл он ее в своих дневниках, которым поверял свои тягчайшие переживания, свою неимоверную боль. Сама же Татьяна Львовна была заинтересована только в одном, чтобы отцу было хорошо и спокойно. 12 августа он сказал ей о существовании завещания и записал в дневнике об этом разговоре: «Она рада и согласна» (т. 58, с. 133).

* Речь идет о черкесе, который по распоряжению Софьи Андреевны охранял яснополянские владения. — Б. М.



ТОЛСТОЙ

Рисунок Т. Л. Сухотиной-Толстой, 1908 г.

Музей Толстого, Москва

В свете всего этого очевиден интерес, который вызывают публикуемые ниже воспоминания Татьяны Львовны. Уже из ее письма к Софье Андреевне, которое мы привели, можно заключить, что основу расхождений между матерью и отцом старшая дочь видела в коренном различии взглядов, в том, что ее матери внутренний мир отца был чужд. Эта же точка зрения развивается и углубляется в воспоминаниях. Благодаря такой постановке вопроса воспоминания Татьяны Львовны оказываются несравненно принципиальнее сочинений многих авторов, не сумевших возвыситься над мелочами семейного разлада Толстых и отдавших все внимание детальному описанию всякого рода бытовых дрязг и даже сплетен, которые, не стесняясь, позволяли себе некоторые мнимые и действительные «свидетели происходившего» *. Т. Л. Сухотина, проявляя незаурядное литературное дарование и опираясь как на собственные наблюдения, так и на некоторые документальные материалы, показывает, что корни «яснополянской трагедии» именно в различии взглядов на жизнь, на смысл жизни, которое проявилось вскоре же после брака отца и матери. При этом Татьяна Львовна исходит из того, что это различие было вызвано объективными условиями, а не злыми намерениями или дурным характером Софьи Андреевны (отсюда полемическая направленность мемуаров Татьяны Львовны против тех, которые рисовали, по ее словам, «пристрастный», «искаженный портрет» ее матери).

Татьяна Львовна во многом восстанавливает истину. Она показывает, что основой разлада между ее отцом и матерью были противоположные взгляды на многое в жизни и невозможность для матери понять внутренний мир Толстого. Истоки разлада уходят в далекое прошлое. Татьяна Львовна пишет о матери: «Какой же была она, когда узнала, полюбила и стала женой Толстого? Вторая дочь доктора Берса, воспитанная как все барышни ее круга и ее века. В то время замужество было жизненной целью каждой барышни, и моя мать инстинктивно стремилась к этому идеалу <...> Для нее все завершалось семейной жизнью: быть верной и любящей женой, преданной матерью — вот долг, который она перед собой ставила. И бог свидетель — честно ли она его выполняла в течение всей своей долгой жизни». Со своими понятиями о цели брака и семьи, выполняя долг жены и матери, Софья Андреевна не только не хотела, но и не могла понять исканий своего мужа и особенно духовного перелома, который произошел у него в 80-е годы и вызвал отрицание им основ существующего порядка, резкое обличение всего уклада современного общества. Правда, Татьяна Львовна ошибочно связывает этот перелом только с религиозными исканиями Толстого и не видит здесь его перехода на новую социальную позицию: в этом слабость ее мемуаров. Но она, несомненно, права, когда утверждает, что, не умея понять борьбу, происходившую в душе Толстого, причины его поисков, его мучений, Софья Андреевна «не занимала больше места во внутреннем мире того, кто, живя рядом с ней, страдал своими собственными страданиями», страданиями, вызванными глубокими размышлениями над происходящим вокруг него. Татьяна Львовна права, когда говорит, что невозможность понять Толстого была для Софьи Андреевны «больше ее несчастьем, нежели ее виной. И это несчастье ее сломило». Из картины, нарисованной Татьяной Львовной, следует, что безусловно неправы те мемуаристы и литераторы, которые пытаются доказать, что брак Толстого и Софьи Андреевны не был основан на взаимной любви. Тонким проникновением в суть семейной драмы отличаются слова Татьяны Львовны о своих родителях: «Они жили бок о бок, как хорошие друзья, — но чужие друг другу, полные большой и искренней взаимной любви, но все более и более сознающие, сколь многое их разделяет». В публикуемых мемуарах прослеживается нарастание розни, которая особенно усилилась борьбой вокруг завещания и болезнью Софьи Андреевны, сопровождавшейся невыносимыми для Толстого проявлениями «преувеличенного эгоизма». Сдержанно и объективно рассказывает Татьяна Львовна и о расхождении во взглядах между отцом и другими членами семьи. Несмотря на периоды спокойной и даже счастливой жизни, постепенно обострялись противоречия между Толстым и чле-

* Образцом такого рода описаний является, например, неопубликованный дневник машинистки В. М. Феокритовой, проживавшей тогда в яснополянском доме Толстых. — Б. М.

нами семьи, противоречия, которые опять-таки основывались на различном отношении к жизненной цели. И Татьяна Львовна замечает: «Драма только тогда становится драмой, когда < . > обстоятельства заводят в тупик. Наша семья очутилась действительно в трагическом положении, из которого не было выхода».

Итак, стремление объективно охарактеризовать «семейную драму» определяет основную ценность публикуемых мемуаров. Благодаря этому они помогут современным исследователям в изучении одной из многих и сложных причин ухода Толстого, хотя, разумеется, и в этом плане характеристики Татьяны Львовны нуждаются в коррективах, поскольку наше понимание социально-исторических истоков эволюции Толстого позволяет понять вернее и суть семейного разлада. Ведь этот разлад при всем его своеобразии является одним из типичных проявлений общественной ломки, происходившей в ту эпоху и по-своему отразившейся и в сфере семейных отношений: не случайно поэтому многие общие критические суждения Толстого о современных семьях можно отнести к его собственной семье.

В начале своих мемуаров Татьяна Львовна предупреждает, что она пишет эту свою статью-мемуары именно как дочь Толстого, как свидетель, поставленный «в особо благоприятные условия», посвященный «более, чем кто-либо другой» в его личную жизнь. Вместе с тем она подчеркивает, что не претендует на то, чтобы раскрыть сущность ухода отца, замечая: «Его поведение было результатом целого ряда причин, сочетавшихся, смешивавшихся, сталкивавшихся, противоречивших друг другу». Свое внимание Татьяна Львовна сосредоточила преимущественно на одной из причин, но не в этом недостаток ее мемуаров: она пишет о том, что знает. Недостатки обнаруживаются главным образом тогда, когда она попутно касается сложных вопросов идейной эволюции Толстого. Так, например, в ее освещении новый взгляд Толстого на народ после перелома и его любовь к «простонародью» были вызваны тем, что в народе увидел он истинное христианство; на самом же деле отношение Толстого к народу, как это теперь хорошо известно, было вызвано прежде всего переходом на точку зрения крестьянских масс, угнетенных и поработенных современным строем. Поэтому иногда непоследовательно и неверно освещается в мемуарах и суть расхождений Толстого и Софьи Андреевны в вопросе об отношении к крестьянству. Татьяна Львовна приводит характерные признания матери о том, что ей чужд «деревенский народ» и она никогда его не поймет. И тем не менее, отвлекаясь от этих важнейших признаний, помогающих понять причину многих раздоров в яснополянском доме, Татьяна Львовна утверждает далее, что после смерти отца мать в последние годы своей жизни стала по взглядам ближе к отцу, и видит эту близость в... сочувственном отношении к вегетарианству. А между тем в основе взгляды Софьи Андреевны, разделявшие ее с мужем, остались неизменными. Как показывают ее неопубликованные «Ежедневники» (записи дневникового характера) последних лет жизни, ее взгляды на помещичью собственность, на крестьян которые будто бы самим богом обречены работать на помещиков, — взгляды, сформировавшиеся еще в молодости, отстаивались ею до конца жизни.

* * *

После того, как Толстой покинул Ясную Поляну, его дети написали ему письма. Каждый по-своему выразил отношение к решению отца начать новую жизнь. Среди этих писем письмо Татьяны Львовны отличается чуткостью и присущим ей тактом. Вот оно:

«Милый, дорогой папенька, ты всегда страдал от большого количества советов — поэтому я не даю советов. Ты, как и всякий, поступаешь так, как можешь и как считаешь нужным. Никогда тебя осуждать не буду. О мамá скажу, она жалка и трогательна. Она не умеет жить иначе, чем она живет. И, вероятно, никогда не изменится в корне. Но для нее нужен страх или власть. Мы все постараемся ее подчинить и, думаю, что это будет к ее пользе. Прости меня. Прощай, друг мой. Твоя Т а н я. 29 окт. 1910 г.» (С. Л. Т о л с т о й. Очерки былого, стр. 250).

Теперь мы знаем, что когда старшая дочь Толстого писала это письмо, она была охвачена тяжелыми предчувствиями. Мы знаем также, что в «яснополянской трагедии» она вела себя безупречно. И все же предотвратить роковой конец было не в ее силах: из создавшегося положения, как она говорит, «не было выхода».

О СМЕРТИ МОЕГО ОТЦА И ОБ ОТДАЛЕННЫХ ПРИЧИНАХ ЕГО УХОДА

Меня часто обвиняли в том, что я никогда не протестовала против контрфакций и плагиата сочинений моего отца Льва Толстого, равно как и против лжи и клеветы, которые время от времени возникали и все еще возникают в мировой печати вокруг его имени.

Я следовала в этом его примеру: мой отец взял себе за правило никогда не отвечать на посягательство на его литературные права и не отзываться на клевету, затрагивающую его частную жизнь.

Если я прерываю молчание, то это вызвано тем, что в печати появились книги, написанные друзьями моего отца, дающие фальшивую картину отношений моих родителей между собой и пристрастный, искаженный портрет моей матери. В этих книгах описанные факты, как правило, точны, но, говоря словами Гоголя, — ничего нет хуже правды, которая не правдива.

Я полагала, что мне как старшей дочери надлежало выступить в защиту истины. Мой долг перед памятью родителей — прервать в настоящий момент молчание. Конечно, это тяжелая обязанность, ибо мне придется вскрыть многое такое, что обычно не выходит за пределы узкого семейного круга.

Моя жизнь прошла не в обычном доме. Наш дом был стеклянным, открытым для всех проходящих. Каждый мог все видеть, проникать в интимные подробности нашей семейной жизни и выносить на публичный суд более или менее правдивые результаты своих наблюдений. Нам оставалось рассчитывать лишь на скромность наших посетителей.

Мой отец никогда не боялся говорить о самом себе, когда считал это необходимым. Он жил, ни от кого не прячась. Он написал свою «Исповедь» и в этой исповеди, искренней до предела, обнажил все тайники своего сердца.

Я считаю, что настало время поделиться с теми, кто интересуется Толстым, пережитым мною в годы, проведенные близ него. У меня сложилась собственная точка зрения на отношения моего отца и матери и на их отношение к нам, их детям. Я свидетель. Вначале я хотела обратиться к своим русским братьям и сестрам: у моего отца среди них есть много друзей. Теперь я обращаюсь к французам, среди которых, я уверена, тоже много друзей Толстого. Что касается меня, то мне нечего скрывать от этих друзей. Я хочу, чтобы они были судьями. Я хочу показать им в новом свете некоторые стороны жизни моего отца. Я буду вполне откровенна и вполне искренна, и если не скажу всего, что могла бы сказать о драме жизни моих родителей, то только потому, что слишком много людей было замешано в эту трагедию и что для некоторых из них это было бы слишком рано.

Все даты указаны здесь по «старому стилю», т. е. с опозданием на 13 дней.

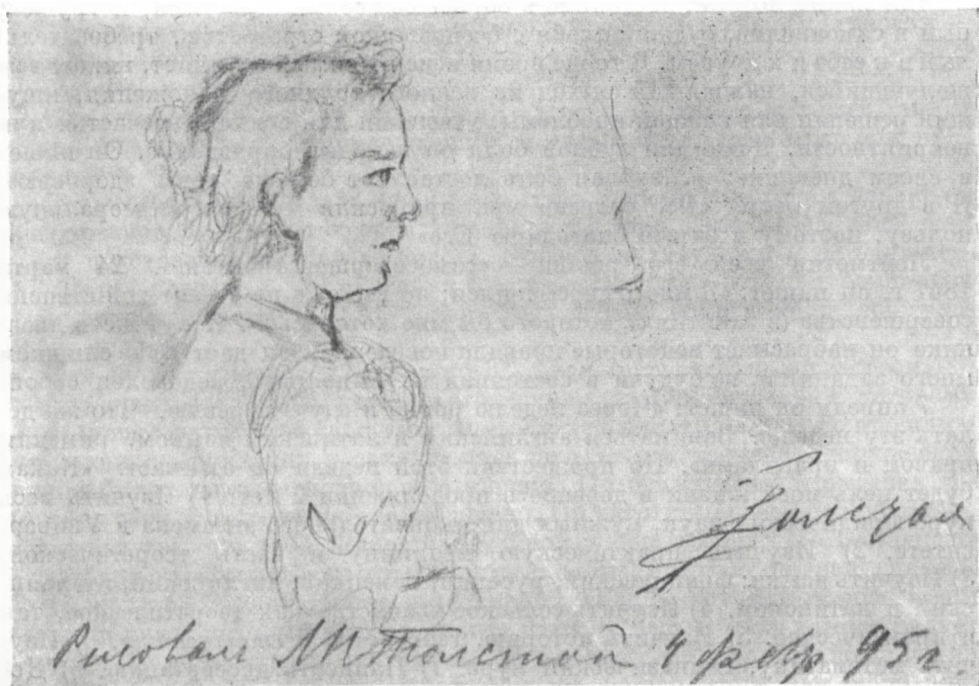
* * *

Темной осенней ночью 28 октября 1910 г., в 3 часа пополудни, мой отец покинул свой дом в Ясной Поляне, где он родился и провел большую часть своей жизни.

Какие же были причины, вызвавшие этот отъезд — скажу даже — это бегство? Известны ли они и станут ли когда-нибудь известны?

Самое простое было бы сказать, что Толстой убежал от жены, так как она его не понимала и жизнь с нею была ему тяжела. Или, что та относительная роскошь, которая его окружала в семье, была ему невыносима и

он хотел жить простой, уединенной жизнью среди крестьян и рабочих. Но в жизни человека никогда не бывает, чтобы одна какая-нибудь причина преимущественно перед другими побудила бы его совершить тот или иной поступок. И это в особенности справедливо для такой богатой, страстной и сложной натуры, как мой отец. Его поведение было результатом целого ряда причин, сочетающихся, смешивавшихся, сталкивавшихся, противоречивших друг другу.



Т. Л. ТОЛСТАЯ

Рисунок Толстого

Внизу надпись рукой Т. Л. Толстой: «Рисовал Л. Н. Толстой 4 февраля 95 г.»

Архив Толстого, Москва

Я была свидетелем жизни моего отца в течение двух ее периодов: перед его религиозным кризисом и после него. Добавлю, что я была свидетелем, поставленным в особо благоприятные условия. Я была более, чем кто-либо другой, посвящена в его интимную жизнь. В течение тридцати пяти лет, до своего замужества, я постоянно жила дома. Мой отец был со мной очень откровенен, в особенности в том, что касалось моей матери. Он знал, что я люблю их обоих и всегда готова сделать все от меня зависящее, чтобы водворить между ними мир.

Моя мать в свою очередь делилась со мной своими тайными горестями и радостями. Я была ее старшей дочерью и только на 20 лет моложе ее. С годами разница в возрасте между нами до такой степени сгладилась, что вскоре она стала относиться ко мне как к равной, как к подруге.

Чтобы понять весь трагизм положения, незаметно нараставший в течение почти полувека и приведший к уходу моего отца из дома и к его смерти в маленьком домике начальника станции, следует вдуматься в то,

каким был Толстой начиная с сознательного возраста и какой была та, та молоденькая Соня Берс, которая стала его женой.

У меня перед глазами интимные дневники моего отца, начиная с 1847 г. Ему было тогда 19 лет, и он был студентом Казанского университета. Есть у меня и дневники матери начиная с 1862 г. Ей было 18 лет, и она только что вышла замуж. Каждый внимательный читатель найдет и в этих документах зародыши характеров, развившихся и окрепших в зрелом возрасте.

Вот каким был он: постоянно в борьбе со своими страстями, погруженный в самоанализ, судящий себя с беспощадной строгостью, требовательный и к себе и к другим. В то же время неисправимый оптимист, никогда не жалующийся, находящий выход из всякого трудного положения, ищущий решения для каждой проблемы, утешения для всякого несчастья или неприятности. Даже для зубной боли он находил оправдание. Он пишет в своем дневнике: «...зубная боль доставляет больше цены здоровью». И в другом месте: «Все болезни мои приносили мне явную моральную пользу; поэтому и за это благодарю Его»¹.

Лейтмотив всей его жизни — «самосовершенствование». 24 марта 1847 г. он пишет: «Я много переменялся; но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось»². И тут же в дневнике он набрасывает некоторые правила поведения. Он дает себе слишком много заданий и, не будучи в состоянии их выполнить, недоволен собой.

7 апреля он пишет: «Через неделю ровно я еду в деревню. Что же делать эту неделю? Заниматься английским и латинским языком, римским правом и правилами». По прошествии этой недели он отмечает: «Какая будет цель моей жизни в деревне в продолжении 2 лет? 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в Университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать»³.

На следующий день он понял, что переоценил свои возможности, и 18 апреля пишет: «Я написал вдруг много правил и хотел им всем следовать, но силы мои были слишком слабы для этого»⁴.

После двухмесячных стараний, он отмечает: «Ах, трудно человеку развить из самого себя хорошее под влиянием одного только дурного». «Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство»⁵.

Позднее он убедился, что совершенство и совершенствование — вещи разные, и 3 июля 1854 г. записал: «...главная моя ошибка — <...> та, что я усовершенствование смешивал с совершенством. Надо прежде понять хорошенько себя и свои недостатки и стараться исправлять их, а не давать себе задачей — совершенство, которого не только невозможно достигнуть с той низкой точки, на которой я стою, но при понимании которого пропадает надежда на возможность достижения»⁶.

Он не прекращает своих усилий. Он не теряет надежды. От времени до времени он отмечает достигнутые успехи на пути совершенствования. «Исправление мое, — утверждает он, — идет прекрасно»⁷. И позднее: «Упиваюсь быстротой морального движения вперед». Однажды он поставил перед собой такую задачу: «... для себя по доброму делу в день» и добавляет: «и довольно». «Я твердо решил посвятить свою жизнь пользе ближнего. В последний раз говорю себе: Ежели пройдет три дня, во время которых

я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя». И через месяц: «Ежели завтра я ничего не сделаю, я застрелюсь»⁸.

Много лет спустя мой отец, вспоминая эти годы борьбы, писал: «...единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем и было совершенствование, и какая была цель его, я бы не мог сказать <...> Я всю душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло самые душевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям — меня хвалили и поощряли»⁹.

Затем — женитьба.

12 сентября 1862 г. он пишет: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится»¹⁰.

16 сентября он передает юной Соне Берс письмо, в котором делает ей предложение, и заносит в свой дневник: «Сказал. Она — да. Она как птица подстреленная. Нечего писать. Это все не забудется и не напишется». Через неделю — 23 сентября — свадьба. Через два дня он пишет: «Неимоверное счастье <...> Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью»¹¹.

Чем была женитьба для Толстого? Страницей любви, средством положить конец соблазнам, которые его мучили, этапом его жизни, которому он не мог посвятить все свои умственные и душевные силы. И не прошло и года, как он приходит к заключению, что девять месяцев супружеской жизни были для него периодом оупения. Он испытывает угрызения совести за свой эгоистический образ жизни. Он тяготится своей праздностью, перестает уважать себя. Радости семейной жизни всецело его поглощают и заставляют забывать «высоты правды и силы», которые он знал раньше.

18 июня 1863 г. он пишет в дневнике: «Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю». И он кончает записи этого дня молитвой: «Боже мой. Дай мне жить всегда в этом сознании тебя и своей силы...»¹².

И вот эта женщина. Какой же была она, когда узнала, полюбила и стала женой Толстого? Вторая дочь доктора Берса, воспитанная как все барышни ее круга и ее века. В то время замужество было жизненной целью каждой барышни, и моя мать инстинктивно стремилась к этому идеалу. Замужество было для нее чем-то священным. Всем своим воспитанием она была подготовлена к семейной жизни, и она принесла в эту жизнь все богатство девственной души и тела.

Но, в противоположность мужу, она от природы пессимистка. Она часто впадает в уныние и легко огорчается. Ей кажется, что все вокруг приносит ей несчастье. Она постоянно воображает себя в безвыходном положении и вместо того, чтобы искать выхода, то жалуется, то упрекает себя, то ищет себе извинения. Она чувствует себя ответственной за все несчастья, которые ее окружают, и виноватой, что не может ничем помочь.

Первым большим горем в ее жизни было открытие прошлой холостой жизни мужа. До самой смерти она не могла примириться с мыслью, что отдала ему всю свою любовь, тогда как он до нее любил других женщин. Вот что читаем мы в ее дневнике: «Все его прошедшее так ужасно для меня, то я, кажется, никогда не помирюсь с ним <...> Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь, с тысячами разных чувств хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же не будет мне принадлежать его молодость, потраченная бог знает на кого и на что...

И не понимает он еще того, что я ему отдаю все, что во мне ничего не потрачено, что ему не принадлежало только детство <...> Ему бы хотелось, чтоб и я прошла такую жизнь и испытала столько дурного, сколько он, для того чтоб и я поняла лучше хорошее. Ему инстинктивно досадно, что мое счастье легко далось, что я взяла его, не подумав, не пострадав <...> Что же мне делать, а я не могу простить богу, что он так устроил, что все должны, прежде чем сделаться порядочными людьми, перебеситься»¹³.

Она не умеет пользоваться данным ей счастьем. Даже в счастливые минуты она умудряется мучить себя сомнениями и предчувствиями: «Ему нездоровится, ну, думаю, как умрет, и вот пойдут черные мысли на три часа. Он весел, я думаю: как бы не прошло это расположение духа <...> А нет его или он занят, и я начну опять о нем же думать, прислушиваться, не идет ли, следить за выражением лица его, если он тут»¹⁴.

И она ревнует ко всему и ко всем: «Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь»¹⁵.

И в другом месте: «Читала начала его сочинений, и везде, где любовь, где женщины, мне гадко, тяжело. Я бы все, все сожгла. Пусть нигде мне не напомнится его прошедшее. И не жаль бы мне было его трудов, потому что от ревности я делаюсь страшная эгоистка.

Если бы я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то сделала бы с удовольствием»¹⁶.

Бедное дитя! Она страдает от всех этих несуразностей, которые сама выдумывает, чтобы мучить себя. Она не понимает, что ее страдания происходят от несоответствия ее взгляда на брак с действительностью. Для нее все завершалось семейной жизнью: быть верной и любящей женой, преданной матерью — вот долг, который она перед собой ставила. И бог свидетель — честно ли она его выполняла в течение всей своей долгой жизни. Того же она требовала и от него.

А он, мог ли он ограничить свои интересы семьей и быть только мужем и отцом?

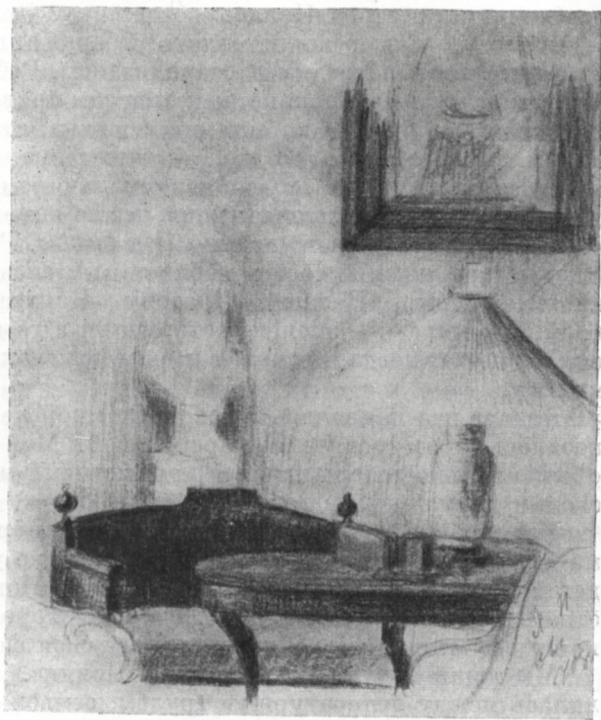
Разлад, едва заметно обнаружившийся с первых же дней супружеской жизни моих родителей, благодаря связывавшей их большой любви остается скрытым около двадцати лет, до того момента, который называют обращением, или религиозным кризисом Толстого и который он сам называл своим вторым рождением. Первые двадцать лет их брака были счастливыми.

Итак, как я уже сказала, моей матери было 18 лет, когда она вышла замуж. Она красива, стройна, пылкая брюнетка. До того она никогда не жила в деревне. И вот эта горожанка, почти еще ребенок, должна отказаться от всех радостей жизни в большой семье и в большом городе с его развлечениями. Темной сентябрьской ночью она уезжает с мужем в большом дорожном экипаже, называвшемся дормезом. Она уезжает в Ясную Поляну, где, кроме старухи тетки Татьяны Александровны, живущей там в окружении нескольких странных особ, одна из которых не совсем в своем уме, она никого не найдет. Ей страшно: вместо блестяще освещенного Кремля, где жили ее родители, — погруженный в глубокий мрак двор, вместо приятных гостей, двери дома раскрываются только для прохожих паломников. Эта непривычная среда кажется ей странной и немножко жуткой. А муж — спит на диване, на кожаной подушке, да к тому же без наволочки!

Молодой женщине было не легко привыкнуть к такому новому для нее образу жизни. Но большая и взаимная любовь заставляла ее все за-
быть.

УГОЛОК ЗАЛА В ЯСНО-
ПОЛЯНСКОМ ДОМЕРисунок Т. Л. Сухотиной-
Толстой, 1908 г.

Музей Толстого, Москва



Отец пишет в дневнике: «Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею потому, что не смею, не чувствую себя достойным»¹⁷.

Молодая жена со своей стороны считала себя недостойной того великого человека, каким был ее муж. Она постоянно стремилась достигнуть того уровня, на котором он стоял в ее глазах. «Чувствуя, — писала она, — подавляющее превосходство Льва Николаевича во всем: в возрасте, в образовании, в уме, в опыте жизни, не говоря уже о его гениальности, я тянулась изо всех сил духовно приблизиться к нему, стать если не вровень с ним, то на расстояние понимания его, и чувствовала свое бессилие»¹⁸.

Посмотрим, как жили тогда в Ясной Поляне. Выпив кофе, отец уходил к себе в кабинет; но даже в часы работы он не решался расстаться с женой. Она с рукоделием молча сидела на диване, пока он писал. А вечером принималась переписывать начисто листки, написанные днем. Она никогда, несмотря ни на какую усталость, не пропускала этой работы, которую считала своей главной обязанностью. А закончив переписку, она шла в зал посидеть со старой тетушкой.

Вскоре она стала ждать своего первого ребенка. Чувствуя недомогание, она любила прилечь у ног мужа на шкуре черного медведя, клыки которого несколько лет перед этим чуть было не оказались роковыми для Толстого. Она засыпала там спокойным сном в ожидании часа, когда все расходилось по своим комнатам. Отец пожелал, чтобы жена не только сама кормила своего первенца (это был мой брат Сергей), но и обходилась бы без помощи няни. Это было тяжелым требованием для молодой, неопытной женщины, воспитанной в известной роскоши. Ребенок был болезненным. Кормление грудью, причинявшее матери мучительную боль, было все же прервано, но только лишь после того, как убедились в полном

необходимости этого. Нанять кормилицу? Это казалось родителям преступлением. Они решили отнять ребенка от груди. В те времена не очень-то беспокоились о гигиене и стерилизации. Ребенок опасно заболел. Мать описывает в своем дневнике, как отец сам приготавливал для ребенка молоко и дрожащими руками кормил его с рожка, стараясь привыкнуть к своим новым обязанностям. «Я же, — пишет она, — была в диком отчаянии и плакала день и ночь, прощаясь с мальчиком, разговаривая с ним и внушая ему, точно он мог понять меня, что не виновата, что не кормлю его»¹⁹.

Отец почти напролет ухаживал за сыном. Рассвет заставал его одетым, и он возвращался к себе в кабинет к Александру I, Наполеону, Пьеру, князю Андрею, Наташе, Платону Каратаеву, — всем персонажам «Войны и мира» — эпопеи, которую он в то время писал. Однако наступила минута, когда, несмотря на все нежелание, им пришлось взять кормилицу.

Вскоре и я появилась на свет. Со мной не было таких хлопот. Жизнь казалась моим родителям прекрасной. Мой отец писал своему тестю: «Точно только теперь начался наш медовый месяц <...> Как мила Соня со своими двумя малышами»²⁰.

Через полтора года после меня родился брат Илья. Затем с перерывами от полутора до двух лет семья регулярно увеличивалась. Нас было 13 детей, из которых 11 мать кормила сама. Пока опытная и добрая рука отца направляла нашу жизнь, все шло хорошо. Мать отдавала своему мужу все лучшее, что у нее было: все свои силы, всю свою любовь.

Мы жили круглый год в Ясной Поляне. Деятельность отца распределялась между литературным трудом, семьей и хозяйством. Он сажал деревья, расширял сады и леса, разводил пчел, строил стойла, конюшни и занимался разного рода животноводством. Но лучшие силы и наибольшее время забирал у него в те годы литературный труд.

«Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона». Эти строки взяты из его дневника 1865 г. Это первое упоминание о «Войне и мире»²¹.

А через два года моя мать отмечала: «Левочка всю зиму раздраженно, часто со слезами и волнением пишет. По-моему, роман „Война и мир“ его должен быть превосходен. Все, что он читал мне, до слез меня волнует»²².

Во время этих чтений моя мать высказывала свои замечания. А отец принимал их к сведению и иногда, сообразуясь с ее мнением, изменял текст. Приведу следующий отрывок из его письма к жене от 7 декабря 1864 г.: «Я пишу в кабинете, и передо мной твои портреты в 4-х возрастах. Голубчик мой, Соня. Какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать». И он продолжает и, анализируя ее ум, заканчивает так: «А я так и не сказал, за что ты умница. Ты, как хорошая жена, думаешь о муже, как о себе, и я помню, как ты мне сказала, что мое все военное и историческое, о котором я так стараюсь, выйдет плохо, а хорошо будет другое — семейное, характеры, психологическое. Это так правда, как нельзя больше. И я помню, как ты мне сказала это, и всю тебя так помню. И, как Тане, мне хочется кричать: мама, я хочу в Ясную, я хочу Соню <...>. Душа моя милая. Только ты меня люби, как я тебя, и все мне нипочем, и все прекрасно»²³.

В ту пору и муж и жена занимались каждый своим делом с интересом, полным любви, входя вместе с тем в жизнь друг друга. И каждый из них целиком отдавался своему делу.

Делом отца был литературный труд: «Писать надо только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса...»²⁴.

Что до нее, то этот кусочек себя она ежедневно оставляла в детской. Она пишет в дневнике: «Я люблю детей своих до страсти, до боли»²⁵. Она не преувеличивает, так как если она кормила детей с любовью, это давалось ей не без страданий. Как сейчас вижу ее с ребенком на руках, с запрокинутой головой и сжатыми зубами, чтобы скрыть, что ей больно. Она считала материнский долг важнейшим долгом. «Хоть умру от страданий, но ни за что не отниму», — признавалась она своей сестре. И в другом письме: «Мой ребенок не был бы вполне моим, если бы посторонняя женщина кормила его в течение первого самого важного года его жизни»²⁶. Добровольное материнское рабство! После смерти десяти-месячного сына, она писала той же сестре: «Теперь, Таня, я свободна, но как тяжела мне моя свобода...»²⁷.

Иногда отец ездил по делам в Москву. Ежедневная переписка облегчала разлуку. Она писала ему из Ясной Поляны: «Сижу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет, вспоминаю все свое прошедшее...»²⁸.

А он отвечает: «Послезавтра на клеенчатом полу в детской обйму тебя, тонкую, быструю, милую мою жену»²⁹.

Заметьте, он точно указывает, что это произойдет в детской. Он хорошо знал, что в какой бы час он ни приехал, он всегда застанет ее там.

Иногда ее пугало, что ее личность до такой степени поглощалась мужем и детьми. Я вижу это в записях 1862 г.: «Я думаю его мыслями, смотрю его взглядами, напрягаюсь, им не сделаюсь, себя потеряю. Я и то уже не та, и мне стало труднее»³⁰. И в другом месте: «Когда же его дома нет, я опять живу его интересами, пойду в его кабинет, убегу все, пересмотрю в комнатах его белье и вещи, перечитаю на столе его бумаги и стараюсь всеми силами войти в его умственный мир»³¹. Она ему пишет: «...без тебя все равно, как без души. Ты один умеешь на все и во все вложить поэзию, прелесть и возвести на какую-то высоту <...> А только без тебя то люблю, что ты любишь; я часто сбиваюсь, сама ли я что люблю, или только оттого, что ты это любишь»³².

Иногда молодость, желание веселиться берут свои права и она восклицает: «...они посылают меня спать, а мне хочется кувыряться, петь, плясать». Это оттого, что ей 19 лет. Она чувствует себя молодой и часто сознается самой себе: «У меня страстное желание вырваться из действительной жизни. Не надо. Я не имею на это ни времени, ни права»³³. Она особенно восприимчива к музыке: поэтому она боится ее больше всего.

«Машенька заиграла что-то, и музыка, которую я так давно не слышала, разом вывела меня из моей сферы детской, пеленок, из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где все другое. Мне даже страшно стало, я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы <...> Я желаю, чтобы никогда не пробуждалось во мне это чувство, которое тебе — поэту и писателю — нужно, а мне — матери и хозяйке — только больно, потому что я не могу и не должна ему отдаваться»³⁴.

Эта внутренняя работа, эти усилия над собой не проходили незамеченными для мужа, за них он еще сильнее любил ее, хотя и не без страха наблюдая за ними. Это нашло отражение в его дневнике 1863 г.: «...она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня, и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет»³⁵.

Действительно, такой счет был моей матерью представлен отцу, но только открыт он был гораздо позже, гораздо позже. В ту пору жизнь была хороша и дорога еще легка.

С этого же времени начинаются попытки отца опростить жизнь семьи и внести в нее более суровый распорядок, чем это было принято у людей его круга. Попытки оказались неудачными и были быстро оставлены. Он

хотел, чтобы его первенец воспитывался без няни. Болезнь матери поставила перед необходимостью взять няню, а позже они выписали няню из Англии. Первая проба поездки в телеге оказалась также малоудачной: мою мать так растрясло, что она заболела. Пришлось приобрести коляску. Не в характере отца было упорствовать. Более того, если сам он ставил себе целью усовершенствование жизни, то он отнюдь не желал навязывать свою волю другим. Итак, убедившись, что не может изменить вкусов и привычек жены, он согласился и покорился. Это было тем более нетрудно, что в то время опрощение было для него скорее делом вкуса, чем убеждения. К тому же жизнь в Ясной Поляне была в те годы очень проста.

Относительная роскошь появилась в доме лишь после того, как начали успешно продаваться труды отца. Образ жизни становился шире по мере увеличения средств. У нас были гувернантки и гувернеры иностранцы, учителя и учительницы русского языка. Все они жили в доме. Несколько раз в неделю приезжали еще преподаватели из Тулы. Нам давали уроки закона божия, нас учили несколькими языкам, музыке и рисованию.

Этот двадцатилетний период счастливой жизни закончился драмой, давно подготовлявшейся и разрушившей наш семейный очаг.

Драма становится тогда подлинной драмой, когда у нее нет виновных, но обстоятельства заводят в тупик. Наша семья очутилась действительно в трагическом положении, из которого не было выхода.

С самого раннего нашего детства родители решили, что они переедут в Москву, как только старшие дети подрастут. Брата Сергея готовили в университет дома. Что касается меня, то в 18 лет меня должны были начать вывозить в свет. Это было твердо решено самим отцом. Я помню, как он беспокоился, когда я сломала себе ключицу. Он повез меня в Москву к лучшему хирургу и спрашивал его, не останется ли после операции следов. Ему хотелось удостовериться, не будет ли заметно утолщение, когда мне придется появляться в бальном туалете.

Но незадолго до 1880 г. все духовные интересы отца изменились. Это началось незаметно.

В 1877 г. он пишет своему другу Страхову: «На днях слушал я урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов, что мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и, боюсь, невозможно.

И от этого мне грустно и тяжело»³⁶.

С этого дня отец начинает неустанно искать путей выражения своей веры. В своей «Исповеди» он рассказывает, как он почувствовал первые признаки обращения: «... со мной стало случаться что-то очень странное. На меня стали находить сначала минуты недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать <...> Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?»³⁷.

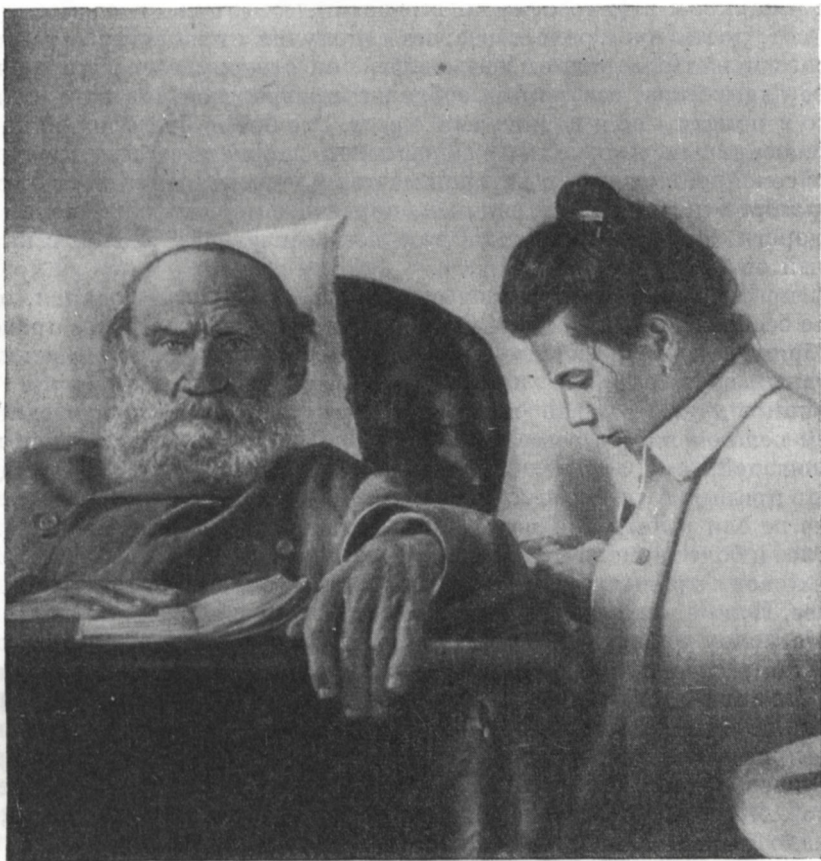
Вначале отец не придавал особого значения этим вопросам, считая их пустыми. Но они все чаще вставали перед ним, все настоятельнее требовали ответа.

И отец понял, что с ним «случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельной внутренней болезнью». Он увидел, что ему необходимо ответить на эти вопросы. Ему надо было знать, для чего он пишет книгу, воспитывает сына, для чего покупает новое имение. «Ну хорошо, — говорил он себе, — у тебя будет тысячи десятин земли <...> сотни лошадей, ты будешь знаменитее всех поэтов и писателей мира. А зачем? Для чего? Что это тебе даст?» «Я, — пишет он в «Исповеди», — как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели».

«Сделалось то, что я, здоровый, счастливый человек, почувствовал, что не могу больше жить.

И вот тогда, я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».

«Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей...»



ТОЛСТОЙ С ДОЧЕРЬЮ Т. Л. СУХОТИНОЙ-ТОЛСТОЙ

Фотография, 1902 г., Гаспра

Музей Толстого, Москва

«Я говорил себе, что во всем этом есть что-то ложное, но увидеть это ложное я не мог. Много позднее эта тьма начала рассеиваться и просветляться, и я постепенно стал понимать свое состояние»³⁸.

Мало-помалу отец пришел к убеждению, что сила жизни зиждется на вере и что самая глубокая человеческая мудрость кроется в ответах, которые дает вера.

Тогда он стал изучать религии всех народов и в первую очередь православную религию. Он изучал их с помощью книг, но также обращался непосредственно к живым людям. Он сблизился с верующими людьми из престолярства, хотя он обнаружил у них наряду с истинным христианством много суеверий, он понял, что их вера была для них необходимостью

и служила оправданием их жизни. Он научился любить этих людей, и чем больше он их любил, тем легче становилось ему жить.

Он понял тогда, что сама по себе жизнь вовсе не была чем-то ненужным, не была злом, но что жизнь его самого не имела смысла и была плохой.

И слова Евангелия, говорящие, что люди предпочитают тьму свету, так как их поступки плохи, стали ему понятны и ясны.

Все, что он испытал, заставило его пристальнее всмотреться в свою собственную жизнь. Это было началом периода исканий и сомнений, проведенного в тоске и тревоге. Ответа на преследующие его вопросы он искал и в науке, и в философии, и в религии.

И вот, достигнув зрелого возраста, получив от жизни все то счастье, которого может ожидать от нее человек, он отвернулся от этого счастья.

Все блага мира, все земные соблазны превратятся для него отныне не только в помехи, но и в тяжелый крест. Это бремя будет порой казаться ему непосильным, и он захочет сбросить его, порвать со всем своим прошлым, с семейной жизнью, о которой мечтал в юности, отказаться от состояния, которое приобрел, и, наконец, порвать с церковью, которая была ему дорога, так как служила для него связующим звеном с народом, который он любил.

Но прежде чем отказаться от религии, в которой он родился, он подверг ее беспощадному анализу. Он добросовестно соблюдал все православные обряды, посты и постные дни, читал молитвы и присутствовал на всех церковных службах.

Я помню, что каждое воскресенье мы с ним ходили к обедне. Мы ходили пешком вместо того, чтобы ехать в коляске, запряженной четверкой лошадей, как это делала мать, когда возила детей причащаться. Отец по привычке легко опускался на колени. Мы строго исполняли посты и даже не ели рыбы. Моя мать пишет в дневнике: «Характер Л. Н. тоже все более и более изменяется. Хотя всегда скромный и малотребовательный во всех своих привычках, теперь он делается еще скромнее, кротче и терпеливее. И эта с молодости еще начавшаяся вечная борьба, имеющая целью нравственное усовершенствование, увенчивается полным успехом»³⁹.

Желая всесторонне изучить православие, отец ездил в Москву к епископу Макарию, побывал в Сергиевской лавре и ходил пешком в Оптиную пустынь. Он отправился в Киев; по его словам, его туда очень тянуло. Но по приезде в знаменитый монастырь он пишет жене: «Все утро до 3-х ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стоило того <...> В 7 пошел от них опять в Лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного»⁴⁰.

Одновременно отец изучал Евангелие, и чем больше он углублялся в это изучение, тем больше начинал понимать всю живость православия. Для него все явственнее становилось величие христианского учения в его чистом виде. «Я достиг солнца, следуя за его лучами», — говорил он, желая выразить, что он пришел к христианству, пройдя через православие. И в сочинении «В чем моя вера» он пишет: «Это было мгновенное озарение светом истины»⁴¹. По его словам он получил полные ответы на вопросы: каков смысл жизни? и смысл жизни других?

В этот период отец целиком отдался выполнению огромного труда: он сделал новый перевод четырех Евангелий, сравнил их и на основе этого сравнения установил единый текст.

С другой стороны, он продолжал работать над критическим разбором догматической теологии. И для этого ему пришлось на склоне лет овладеть еврейским и греческим языками.

Мне следует разъяснить, как отразилось обращение отца на семье. Неравная ему ни по уму, ни по своим интеллектуальным и моральным качествам, не прошедшая вместе с ним путь внутреннего преобразования,

семья не могла последовать за ним. Это была семья, воспитанная в определенных традициях, в определенной атмосфере, и вот вдруг глава семьи отказывается от привычного для нее уклада жизни ради отвлеченных идей, не имеющих ничего общего с прежними его взглядами на жизнь.

Однако он не считает себя вправе сразу разрушить то, что сам же создал.

Он женился на 18-летней девочке. Он сформировал ее характер, и его влияние пустило в ней глубокие корни. Это он прежде не позволял ей ездить иначе, как в первом классе, это он заказывал ей и детям платья и обувь самого лучшего качества и в самых лучших магазинах. А теперь он же требует, чтобы они жили, как крестьяне. Зачем? Зачем теперь отказываться от праздного и радостного существования ради трудовой жизни, полной лишений? Вот вопросы, которые задавала себе моя мать.

Вначале она пробовала его понять. Вот что писала она ему однажды: «Я вчера ехала с тобой и все думала, что бы я дала, чтоб знать, что у тебя на душе, о чем ты думал; и мне очень жаль, что ты мне мало высказываешь свои мысли; это бы мне морально хорошо было бы и нужно. Ты верно думаешь обо мне, что я упорна и упряма, а я чувствую, что многое твое хорошее потихоньку в меня переходит, и мне от этого всего легче жить на свете»⁴².

Я хочу подчеркнуть одну черту отца: он не только никого не поучал, никому даже из членов своей семьи не читал наставлений, но он и вообще никогда никому не давал советов. Он очень редко говорил с нами о своих убеждениях. Он трудился один над преобразованием своего внутреннего мира. Мы не видели, как проходил процесс этого развития, и в один прекрасный день оказались уже перед результатом, к которому не были подготовлены.

В те годы мы не понимали его. Его взгляды пугали нас, но не убеждали. Возможно, что ему была присуща какая-то застенчивость, которая мешала ему говорить с нами о самых дорогих ему мыслях. Может быть, он боялся принуждать нас, насиловать нашу совесть. И мы, дети, научились лучше понимать нашего отца скорее с помощью его учеников.

Через шесть недель после свадьбы моя мать писала в своем дневнике: «Странно, я его ужасно люблю, а влияния чувствую еще мало»⁴³.

Разногласие между отцом и семьей проявилось особенно сильно после переезда нашего в Москву. Интересы родителей все более и более расходились. Устройство дома, подыскание учителей, помещение детей в школы, покупка экипажей и лошадей, наем прислуги, — все лежало на матери. Надо было также подумать о нашей одежде. А мать опять в скором времени ожидала ребенка. Отец жалел мать, и хотя ее хлопоты по дому не представляли для него интереса, он старался ей помочь. Он писал ей в Москву: «Ты не поверишь, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе <...> Оправдание мое в том, что для того, чтобы работать с таким напряжением, с каким я работал, и сделать что-нибудь, нужно забыть все. И я слишком забывал о тебе и каюсь. Ради бога и любви нашей, как можно береги себя. Откладывая побольше до моего приезда; я все сделаю с радостью, и сделаю недурно, потому что буду стараться»⁴⁴.

И действительно, отец поторопился приехать в Москву, чтобы помочь матери. Он занялся определением мальчиков в гимназию, устроил меня в художественную мастерскую и занялся многими другими мелочами нашей жизни. Но он очень тяготился московской жизнью, и его угнетенное душевное состояние отражалось на нас. «Но все, несмотря на то, что похвалили дом, — писала моя мать своей сестре, — пришли сейчас же в уныние, и это уныние и тоска шли три дня, усиливаясь. Дом оказался весь, как

карточный, так шумен, и потому ни нам в спальне, ни Левочке в кабинете нет никогда покоя. Это приводит меня часто в отчаяние, и я нахожусь весь день в напряженном состоянии, чтоб не слишком шумели. Наконец, у нас было объяснение: Левочка говорил, что если б я его любила и думала бы о его душевном состоянии, я не избрала бы ему этой огромной комнаты, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, т. е. эти двадцать два рубля дали бы лошадь или корову, где ему плакать хочется и т. п. <...> Можешь себе представить, как легко теперь жить, да еще две недели до родов осталось, а хлопот, работы и дела без конца»⁴⁵.

Во время этого пребывания в Москве все мы — семья были полностью поглощены светскими обязанностями, вечерами, материальными заботами и заботами о воспитании детей. Отец же завязывал связи совсем другого рода, связи с людьми, которых мы, в противоположность нашим светским знакомым, называли между собой «темными». Он ходил с пильщиками на окраины Москвы, на Воробьевы горы, откуда Наполеон смотрел когда-то на город. Чтобы видаться со своими новыми знакомыми, он каждый день переходил реку и работал вместе с ними. Мать пишет в дневнике: «Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах и точно умышленно искал везде страдания людей, насилие над ними и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным»⁴⁶.

Так это действительно и было, да он и не мог поступать иначе. Он стал разделять христианское учение о любви к ближнему: он должен был искать тех, чьи страдания он мог облегчить. Кроме того, его все больше и больше мучило то обстоятельство, что он владел состоянием, и он начал делить мысль избавиться от него.

«Отдать то, что я имею, — пишет он, — не для того, чтобы сделать добро, но чтобы стать менее виноватым»⁴⁷.

И он начал широко направо и налево раздавать деньги. Это пугало мою мать.

«Новое настроение Льва Николаевича, — пишет она, — проявлялось еще в том, что он вдруг начал раздавать много денег без разбора всем, кто просил. Пробовала я его убеждать, что нужно же как-нибудь регулировать эту раздачу, знать кому и зачем даешь, а он упорно отговаривался изречением Евангелия: просящему дай»⁴⁸.

Она не понимала, что для ее мужа отдать то, что он имел, означало снять с себя грех, грех собственности, которая стала для него невыносимой с тех пор, как напряженной, внутренней работой он дошел до принятия и исповедания определенных воззрений.

В течение нашей первой московской зимы произошло одно событие, сильно взволновавшее отца. Я хочу рассказать о городской переписи 1882 г. Отец записался добровольным счетчиком. Он попросил, чтобы ему дали участок, где жили низы московского населения — находились почлежные дома и притоны самого страшного разврата.

Впервые в жизни увидел он настоящую нужду, узнал всю глубину нравственного падения людей, скатившихся на дно. Он был потрясен и по своему обыкновению подверг свои впечатления беспощадному анализу. Что является причиной этой страшной нужды? Откуда эти пороки? Ответ не заставил себя ждать. Если есть люди, которые терпят нужду, значит у других есть излишек.

Если есть невежественные люди — это оттого, что у других слишком много ненужных знаний.

Если одни изнемогают от тяжелого труда, значит другие живут в праздности.

И когда он ставил себе вопрос: кто же эти другие? — ответ навязывался сам собой: это я, я и моя семья.

Он это давно предчувствовал. Но то, что он теперь увидел, заставляло его признать это всем своим существом.

Для таких людей, как мой отец, норма получаемых впечатлений на много превышала обычную. Он обладал способностью с исключительной силой переживать самому пережитое его ближними. И, обнаружив грех,



ТОЛСТОЙ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПОЧТЫ

Фотография, 1903 (?) г., Ясная Поляна.

На обороте надпись неуставленной рукой: «Редкий снимок. Момент творчества. Толстой задерживает отправку почты, чтобы сделать еще указание относительно рукописей»

У коляски (слева) С. А. Толстая

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

в котором была и его доля вины, он считал себя обязанным пресечь его на будущее и тем искупить его.

Но он вскоре убедился, что это совсем не так просто. Мы жили тогда в доме, который он сам для нас купил. Мы не отдавали себе тогда отчета, какой это было для него жертвой, принесенной ради семьи. Моя мать с некоторой наивностью писала своей сестре: «...а Левочка на днях, заявив о том, что Москва есть большой нужник и зараженная клоака, вынудив меня согласиться с этим и даже решить больше не приезжать сюда жить, вдруг стремительно бросился искать по всем улицам и переулкам дома или квартиры для нас. Вот и пойми тут что-нибудь самый мудрый философ!»⁴⁹.

Мой брат Сергей учился в университете. Меня только что начали вывозить в свет. Отец сам повез меня на мой первый бал. Он представил меня людям своего круга, с которыми сохранил связи.

А вот как протекала наша жизнь. Мы с матерью вставали поздно, день уходил на поездки с визитами или на приемы визитеров. Вечером

мы отправлялись в коляске или в саних на вечера и балы. Такой образ жизни временами доставлял матери удовольствие, а временами она чувствовала всю его пустоту. Она так пишет своей сестре: «Теперь мы совсем, кажется, в свет пустились <...> Веселого, по правде сказать, я еще немного вижу <...> Назначили мы на четверг прием. Вот садимся, как дуры, в гостиной, Лелька юлит у окна, кто приехал, смотрит. Потом чай, ром, сухарики, тартинки, все это едят и пьют с большим аппетитом. И мы едем тоже и так же нас принимают по приемным дням». А в другом письме к ней же: «Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи, иногда прорываются у него речи против городской и вообще барской жизни. Мне это больно бывает, но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я — толпа, живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек, и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это свет, но не могу идти скорее, меня давит толпа и среда и мои привычки»⁵⁰.

«Левочка, очень спокоен. Он пишет какие-то статьи...» Вот что она находила возможным писать, вот что она думала, не догадываясь о тех душевных муках, которые он испытывал, размышляя над своим положением и ища из него выхода. Его мучения легко понять. Возвращаясь из ночлежного дома к себе, он находит накрытым белоснежной скатертью стол с апельсинами, пирожными... Два лакея усердно обслуживают здоровых молодых бездельников. Он видит на стенах драпировки и повсюду ковры. Десять человек можно было бы одеть этим. Его сердце сжимается от боли и негодования. Он не мог примириться с тем, что рядом с людьми, гибнущими от нужды, мы живем праздно и беззаботно.

Вспомним, что он пишет в «Так что же нам делать?»: «Каким образом может человек <...> не лишенный совершенно рассудка и совести, жить так, чтобы, не принимая участия в борьбе за жизнь всего человечества, только поглощать труд борющихся за жизнь людей и своими требованиями увеличивать труды борющихся и число гибнущих в этой борьбе?»⁵¹.

Он понимал, что вместо того, чтобы жить исключительно для личного блага, человек должен участвовать в добывании благ для других людей. Он видел в этом естественный закон, исполнение которого только и могло обеспечить человеку счастье. Но он видел, что этот закон нарушен: как пчелы-трутни, люди отказываются от работы и живут за счет чужого труда и так же, как эти пчелы, погибают оттого, что посягнули на закон. Эти обреченные пчелы-трутни — это я, думал он, я и моя семья. Это не могло так продолжаться.

Он ясно сознавал, что жена была неспособна его понять. Страдания, мучившие его, она рассматривала как проявление болезни, она боялась за его рассудок, она желала только одного, чтобы *это* прошло. Так называла она то, что, по ее мнению, было кризисом, который, она надеялась, будет преходящим. Она совершенно не чувствовала величия того, что совершалось в душе ее мужа. Вот что она пишет сестре: «В кабинете спит Левочка, и у него бессонницы, он иногда ходит по комнате до трех часов ночи»; «Духом он спокоен, и мы дружны и почти веселы»; «Мы очень дружны и во все время очень слегка один раз поспорили»⁵².

Они жили бок о бок, как добрые друзья, но чужие друг другу, полные большой и искренней взаимной любви, но все более и более сознающие, как много их разделяет. И в его голове зарождается мысль, которая становится все навязчивее: порвать с этой жизнью и начать новую, более соответствующую его убеждениям.

В 1879 г. моя мать пишет сестре: «Левочка все работает, как он выражается, но увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтоб показать, как церковь не сообраз-

на с учением Евангелия <...>, я одного желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть, или предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен»⁵³.

Пока труды моего отца имели литературный характер, его жена ими живо интересовалась. Но теперь, когда их содержанием становятся отвлекающие вопросы, они оставляли ее не только равнодушной, но даже вызвали враждебность. Вот как объясняет она это сама в одной из своих записей: «Злобное отрицание православия и церкви, брань на нее и ее слушателей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, все это было невыносимо. Я тогда еще сама переписывала все, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз, я помню, это было в этом 1880 году, я писала, писала, и кровь подступала мне в голову и лицо все больше и больше, негодование поднялось в моей душе, я взяла все листы и снесла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, не могу, я слишком сержусь и возмущаюсь»⁵⁴.

Чтобы избежать взаимного раздражения, отец часто прерывал свое пребывание в Москве. Чаще всего он уезжал в Ясную Поляну. Иногда ездил к Олсуфьевым, в деревню под Москвой, или к своему старому севастопольскому другу, а иногда и дальше, в Самарскую губернию, к башкирам. Но и там он не находил покоя. 22 (?) мая 1885 г. он пишет своему другу Л. Д. Урусову: «В деревне мне что-то тяжело. Неправильность жизни нашей, это рабство бедных, которое мне так ясно и которым мы так наивно пользуемся, мне особенно тяжело. Не знаю почему, но часто вспоминаю: претерпевший до конца спасен будет. И хотя не следует, но все жду чего-нибудь, что спасет меня от режущего разлада моей жизни с сознанием»⁵⁵.

Но ничего подобного не произошло, и он продолжал жить в противоречии с самим собою, которое его терзало. В это время он чувствовал себя особенно одиноким. Он пишет М. А. Энгельгардту: «Вы верно не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий „я“, презираемо всеми окружающими меня»⁵⁶.

И почти в это же время его жена пишет сестре: «Бывала я одинока, но никогда так одинока, как теперь. Так мне ясно, так ощутительно, что никто меня знать не хочет и никому я не интересна»⁵⁷.

Глубоко страдая от разногласий с женой, видя, как далека она от того, чтобы разделить его убеждения, отец все же никогда не терял надежды, что настанет день, когда она к нему вернется. Он пишет ей 23 октября 1885 г.: «Пока живем, все изменяемся и можем изменяться, слава богу, и больше, и больше приближаться к истине. Я только одного этого ищущу и желаю и для себя и для близких мне, для тебя и детей, и не только не отчаиваюсь в этом, но верю, что мы сойдемся, если не при жизни моей, то после»⁵⁸.

И в других письмах: «... ты такая сильная, чудесная физическая натура (и морально прекрасная) загубляешь свои силы»⁵⁹. «В тебе много силы, не только физической, но и нравственной, только недостает чего-то небольшого и самого важного, которое все-таки придет, я уверен. Мне только грустно будет на том свете, когда это придет после моей смерти. Многие огорчаются, что слава им приходит после смерти; мне этого нечего желать; я бы уступил не только много, но всю славу за то, чтобы ты при моей жизни совпала со мной душой так, как ты совпадешь после моей смерти»⁶⁰.

А в другом месте он выражает мысль, что если его убеждения правильны, она к ним придет, как и другие люди.

Но в те дни она была далека от сближения. Образ жизни мужа пугал ее не менее, чем его новые идеи. «...Он переменял еще привычки, — пишет

она сестре. — Все новенькое, что ни день. Встает в 7 часов — темно. Качает на весь дом воду, везет огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова и колет, и складывает в сажени. Белый хлеб не ест, никуда решительно не ходит»⁶¹.

Так и жили они в тягостном напряжении, каждый сам по себе, не вмешиваясь в жизнь другого, чувствуя, однако, что связи, скрепленные двадцатилетней любовью, продолжают существовать. Бесконечные разговоры и длительные споры, возникавшие между ними, не приводили ни к каким результатам, кроме обоюдных ран. Летом 1884 г. между родителями произошло несколько тяжелых сцен. В ночь с 17 на 18 июня отец, взяв на плечи сумку, покинул дом.

До сих пор вижу, как он удаляется по березовой аллее. И вижу мать, сидящую под деревьями у дома. Ее лицо искажено страданием. Широко раскрытыми глазами, мрачным, безжизненным взглядом смотрит она перед собою. Она должна была родить и уже чувствовала первые схватки. Было за полночь. Мой брат Илья пришел и бережно отвел ее до постели в ее комнату. К утру родилась сестра Александра.

В ту ночь отец не ушел далеко. Он знал, что жена должна родить, — родить его ребенка. Охваченный жалостью к ней, он вернулся. Но положение оставалось настолько натянутым, что дольше так не могло продолжаться. Развязка наступила после решительного объяснения, в котором супруги высказали друг другу свои взаимные обиды, вскрыли, что составляло муку их повседневной жизни. Это произошло в декабре того же года. Терпение отца, видимо, истощилось. Чаша переполнилась. Он не смог сдержаться, вся его терпимость и мягкость были смыты безудержной волной негодования.

С перекошенным от боли лицом он пришел к жене и без всяких предисловий объявил, что уходит из дому. Вот отрывок из письма моей матери к сестре, в котором описывается случившееся: «Левочка пришел в крайне нервное, мрачное настроение. Сажу я раз, пишу, входит, я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ну ровно, ровно ничего.

— Я пришел сказать тебе, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, уеду в Париж или Америку.

Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы так не удивилась. Я спрашиваю удивленно:

— Что случилось?

— Ничего, но если на воз накладывать все больше и больше, лошадь станет и больше не везет.

Что накладывалось — неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже, я наконец терпела, терпела, не отвечала почти ничего, вижу — человек сумасшедший, а когда он сказал мне: „Где ты, там воздух заражен“, я велела принести сундук и стала укладываться, хотела ехать хоть к вам на несколько дней. Прибежали дети, рев <...> Стал умолять „останься“. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто.

Подумай только: Левочка — и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его; детей четверо: Таня, Илья, Леля, Маша ревут на крик, на меня напел столбняк; ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, молчу три часа, хоть убей — говорить не могу.

Так и кончилось, но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние, отчужденность, — все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь за что же? Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до 3-х часов ночи, тихо, всех так любила и помнила все это время, как никогда, и за что»⁶².

Я помню эту ужасную зимнюю ночь. Нас тогда было девять детей. Я, как сейчас, вижу всех нас: мы, старшие, сидим в ожидании на стульях в передней на первом этаже. Время от времени мы подходим к двери комнаты второго этажа, где разговаривали родители, и прислушиваемся к их голосам. Они, не смолкая, раздавались очень громко и выражали



М. Л. ТОЛСТАЯ

Портрет маслом работы Т. Л. Толстой, 1893 г.

Дом-музей Толстого в Хамовниках, Москва

страшное волнение. Было очевидно, что между родителями происходил крайне важный и решительный спор. Ни тот, ни другая ни в чем не уступали. Оба защищали нечто более дорогое для каждого, нежели жизнь: *она* — благосостояние своих детей, их счастье, — как она его понимала, *он* — свою душу.

Она «до сумасшествия, до боли» любила своих детей, он же больше всего любил истину. Слова полностью не долетали до нас, но мы слышали достаточно, чтобы понять, что происходило между ними. «Я не могу, — заявлял он, — продолжать жить в роскоши и праздности. Я не могу принимать участие в воспитании детей в условиях, которые считаю губительными для них. Я не могу больше владеть домом и именьями. Каждый

жизненный шаг, который я делаю, для меня невыносимая пытка». И он говорил в заключение: «или я уйду, или нам надо изменить жизнь: раздать наше имущество и жить трудом наших рук, как живут крестьяне».

А она отвечала: «Если ты уйдешь, я убью себя, так как не могу жить без тебя. Что же касается перемены образа жизни, то я на это неспособна и на это не соглашусь, и я не понимаю, зачем надо разрушать во имя каких-то химер жизнь, во всех отношениях счастливую?». И объяснение продолжалось в заколдованном кругу, все время возвращаясь к тому же неразрешимому и непреодолимому вопросу.

Понимали ли мы, что говорил отец? Что касается меня, то — нет. Я твердо верила, что он не может ошибаться. Но что касается той Правды, которую он нашел, я хорошенько не понимала, в чем она заключалась. Мне, в мои 20 лет, она казалась такой недоступной, такой превышающей мои умственные способности, ограниченные моим девичьим кругозором, что у меня даже надежды не было когда-нибудь ее понять. Равным образом не понимала я и позиции матери. Мне казалось, что она должна была подчиниться желаниям отца, каковы бы они ни были. Согласиться на требования мужа, который тебя любит и которого ты любишь, разве это не легче, нежели выносить те нравственные пытки, которые ее терзали? Я так думала и не понимала ее решения.

С нами, детьми, не советовались. Сидя в передней, внизу на лестнице, мы ожидали, пока родители не придут к соглашению. И вдруг проходит слуга с чемоданом и несет его в спальную матери — мы поняли. К счастью, с нами был наш большой друг — Михаил Александрович Стахович, он гостил тогда у нас. В этот день он должен был уехать в Петербург, но мы упросили его отложить отъезд, так страшно казалось нам остаться одним. Если мамá решится уехать, он будет ее сопровождать. Он присоединился к нам в передней. И сейчас вижу, как он сидит на своем чемодане, помогая нам скоротать эту длинную зимнюю ночь.

Но вот она и миновала, эта ночь тревоги. Она закончилась без определенного решения, без развязки. С тех пор тяжелых вопросов больше не касались. Мать ограничивалась заботами об удобствах жизни отца.

А он оставался грустным, молчаливым, сосредоточенным на своих мыслях и нежным к жене и детям. Он нанес удары, причинившие боль. И он страдал, хотя не мог поступить иначе. Ему надо было успокоиться и подумать, и он решил поехать в деревню к своим друзьям Олсуфьевым, за 15 верст от Москвы.

Вот перед крыльцом двухместные санки. Султан, наш добрый конь, смотрит на меня умными глазами. Мать наготовила нам провизии на дорогу, снабдила шубами и одеялами. Она напутствует нас всевозможными наставлениями, предупреждает, как нужно вести себя, если подымется вьюга, чтобы не заблудиться и не замерзнуть. Она нервничает, волнуется. Ее лицо покраснело от мороза, а большие черные глаза блестят от сдерживаемого волнения.

Я беру вожжи, ворота открываются. И вот я одна с отцом на дороге в прекрасное зимнее утро. До сих пор я помню это путешествие во всех его подробностях. Мы с отцом правили по очереди. Мы несколько раз опрокидывались. Ночь уже наступила, когда в сильную метель мы добрались до дома наших друзей. Наш умный Султан, проделавший ту же дорогу год тому назад, помнил все ее повороты и привез нас прямо к цели. Впрочем, не совсем к цели — он направился прямо к конюшне, где однажды стоял!

В дороге отец говорил со мной откровенно, и тогда впервые мне стали несколько понятнее его воззрения.

Но надо было возвращаться в Москву. Ничто не изменилось в нашей жизни. Она шла по прежнему распорядку. Я беру на себя смелость утверж-

дать, что взаимная любовь родителей не только не уменьшилась, но перенесенные страдания еще усилили ее. Словно Дездемона и Отелло. Она любила его за его страдания, а он за сочувствие, которое она к нему проявила. И я думаю, что не ошибусь, добавив, что из жалости к нему она сделала все для нее возможное, чтобы приблизиться к нему сердцем и умом, чтобы заинтересоваться его работами и постараться понять их.

В то время отец писал «О жизни». Это произведение величественное по своей простоте нашло какой-то отклик в сердце матери. Переписка ее с сестрой этому свидетель: «...сижу совсем, совсем одна <...> весь день писала, переписывала Левочкину статью „О жизни и смерти“* (философия), которую он в настоящую минуту читает в университете в психологическом обществе. Статья хорошая и без задора и без тенденций, а чисто философская». И в следующем письме: «По-моему, очень хорошо и глубоко обдуманно, и мне по душе, потому что идеалистично»⁶³.

Статья так хорошо отвечала ее чувствам, что она не только списала, но и перевела ее на французский язык.

С какой радостью отец со своей стороны ответил на это сближение их душ! И хотя сближение это было временным, неполным и не означало перемены образа мыслей и поведения, зато оно устранило отрицание его убеждений, осуждение его идей, презрение к нему как к человеку. Он так страстно желал полного согласия с ней. Ему так хотелось протянуть ей руку помощи для духовного подъема, который позволил бы ей лучше понять его. Он был готов отдать ей за это всю любовь, наполнявшую его сердце. Он пишет ей из Ясной 23 октября 1891 г.: «У меня осталось такое хорошее, радостное впечатление от последнего нашего разговора, что, как вспомню, так весело станет»⁶⁴.

И в другом письме: «Насколько тебе нужно для мужества сознание моей любви, то ее, любви, столько, сколько только может быть. Беспрестанно думаю о тебе и всегда с умилением»⁶⁵.

А вот отрывок из письма 1895 г.: «Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе, — любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что оттого, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, сейчас начавши писать тебе, испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью и что закат будет совсем светлый и ясный»⁶⁶.

И в 1896 г.: «Ты была такая кроткая, любящая, милая последние дни, и я тебя все такой вспоминаю». И еще: «Тебе, ты говорила, и приятны и полезны мои письма. А уж я как желаю, не переставая желаю, сделать тебе хорошо, лучше, облегчить то, что тебе трудно, сделать, чтоб тебе было спокойно, твердо, хорошо. Не переставая думаю о тебе. Как-то жутко за тебя: ты кажешься так нетверда и вместе с тем так дорога мне»⁶⁷.

В 1897 г., в начале лета, матери удалось уехать на несколько дней из Москвы, где она задерживалась из-за занятий младших сыновей. Она неожиданно приехала в Ясную.

После краткого ее пребывания там муж пишет ей: «Оставила ты своим приездом такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостает мне.

Пробуждение мое и твое появление — одно из самых сильных испытанных мною радостных впечатлений»⁶⁸.

* Это первоначальное заглавие. Развивая свою мысль, отец увидел, что смерти нет. И заглавие стало: «О жизни». — Прим. Т. Л. Сухотиной-Толстой.

И в другом письме: «Не могу отделаться от умиленного и грустного чувства, милая, дорогая Соня, когда вспоминаю твои утренние слезы в день отъезда.

Я совершенно уверен, что то хорошее, божеское, которого так много в тебе, победит все то, что тебя угнетает и томит, всю ту апатию и бессодержательность жизни, на которую ты жалуешься, и что еще будешь жить радостной, твердой и спокойной жизнью.

Я только боюсь, как бы не помешать тебе, а помогать я не могу ничем иным, кроме увеличением любви к тебе, которое я последнее время постоянно чувствую»⁶⁹.

Моя мать вновь взялась за переписку трудов отца, заброшенную ею в последнее время. «Таня, — пишет ей отец, — начала переписывать, но главное не минует твоих „прекрасных“ рук»⁷⁰.

В этот период отец нашел в своих детях проблески симпатии и понимания. Он был этим очень счастлив. Я ему писала. Он ответил мне длинным письмом, полным нежности и желания мне помочь.

Моя сестра Маша являлась всецело последовательницей отца; ей было тогда 14 лет. Из всех детей она и младший брат Ванечка больше всех походили на него. Она унаследовала его глаза, голубые, глубокие, пытливые и лучистые. Всегда погруженная в заботы о ком-нибудь или о чем-нибудь, — иной я ее не помню.

В Ясной она ухаживала за больными, учила ребят и кормила бедняков. В Москве ходила по больницам, где училась на сестру милосердия. Мать беспокоилась за ее здоровье и боялась реакции на все то горе, которое ей приходилось видеть. Отец же был очень счастлив, чувствуя, что она примкнула к нему, видя ее симпатию к его мыслям и трудам.

Братья также, хотя и с меньшим постоянством и не все в равной степени, разделяли идеи отца и принимали участие в его жизни. Наиболее близким к отцу, но затем и наиболее разошедшимся с ним, был одно время мой брат Лев. Был период, когда он выше всего ставил воззрения своего отца.

Лева «имеет и умеет, что сказать мне, — пишет отец в одном письме, — и сказать так, что я чувствую, что он мне близок, что он знает, что все его интересы близки мне, и что он знает или хочет знать мои интересы»⁷¹.

В эти годы, к большой радости отца, ему удалось осуществить два своих желания: он отказался от всякой собственности и добился от жены согласия на передачу его литературных произведений в общее пользование. Правда, с некоторым ограничением, так как он не хотел отнять все сразу у жены и детей. Таким образом, он оставил жене авторские права на все свои сочинения до 1880 г., иначе говоря на произведения, написанные им до своего «второго духовного рождения», после чего он не мог уже продавать то, что писал, считая, что подобная торговля своими мыслями и чувствами столь же позорна, как продажа своего тела. Победа, одержанная над женой, досталась не легко. Мать упорно сопротивлялась прежде, чем дала согласие. Он просил ее хорошенько подумать над его просьбой, как думает человек перед богом, перед смертью. Вот что он пишет ей из Ясной: «...сделай это с добрым чувством, с сознанием того, что тебе самой это радостно, потому что ты этим избавляешь человека, которого ты любишь, от тяжелого состояния <...> Но только не делай ничего с дурным чувством»⁷².

Она согласилась. Согласилась, но не поняла. Впрочем, она сознавала, что в душе ее мужа есть область, где он не может уступить даже из любви к ней, потому что требования совести были ему дороже жизни.

В том же году он освободился и от собственности. Мечтою моего отца было раздать все, что он имел, и начать жить всей семьей, как живут крестьяне. На это жена не соглашалась. Надо было найти какой-то другой вы-

ход. Он предложил передать ей все свое состояние. Она отказалась и не без основания.

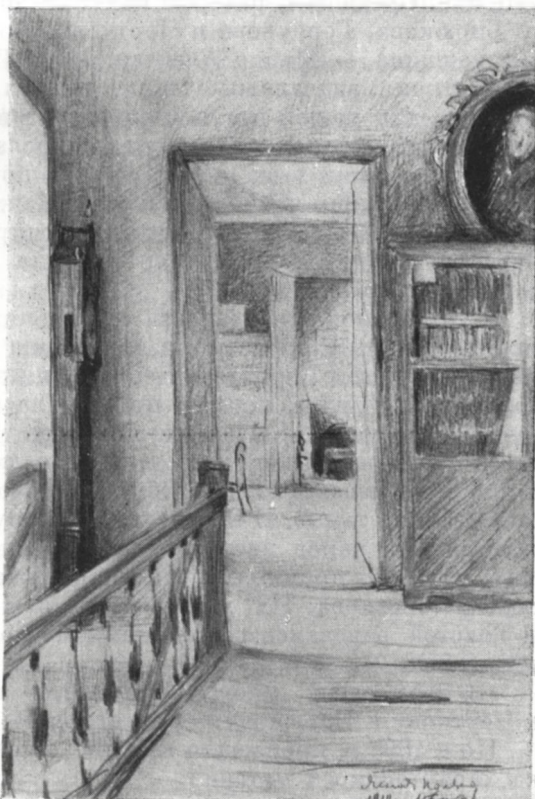
«Ты считаешь, что собственность — зло, и хочешь это зло переложить на меня?!»

Что же делать? Надо было на чем-то остановиться. В конце концов решили поступить так, как если бы отец умер, — а именно, чтобы его наследники вошли во владение его имуществом и разделили его между собой. Произвели оценку всего недвижимого имущества. Затем все разделили на 10 частей, по одной на каждого ребенка и выделили одну матери. Мы тянули жребий. Ясная досталась матери и Ванечке, младшему из братьев. Дележ этот был для нас очень тягостен. Мать это чувствовала. Она пишет сестре: «Есть в этом разделе что-то грустное и неделикатное по отношению к отцу»⁷³.

Тогда же мы, дети, с согласия отца в свою очередь добились маленькой победы над матерью. Она разрешила нам работать летом в поле вместе с крестьянами.

Чудесное время нашей жизни! Каждое утро, по росе, мы с сестрой с граблями на плечах, уходили вместе с крестьянками на сенокос. Мужчины с отцом и братьями, Ильей и Левой, косили уже с 4-х часов утра. Мы, женщины, становились рядами, переворачивали на солнце скошенную траву и переносили сено на «барский двор». Но мы работали не на барина, а в пользу крестьян, которые за косьбу «барского» луга получали половину сена.

В полдень работа прерывалась. Обедали тут же, под тенью деревьев. Дети приносили родителям готовый обед из деревни. Моя младшая сестра Александра приносила и нам еду из дома. Еда эта ничем не отличалась от скромной крестьянской пищи. Мужчины торопились возобновить работу.



ЛЕСТНИЦА В ЯСНОПОЛЯНСКОМ ДОМЕ

По этой лестнице спускался Толстой, покидая в последний раз Ясную Поляну

Рисунок В. Н. Мешкова, 1910 г.

Музей Толстого, Москва

Они не давали нам отдохнуть. Мы едва успевали проглотить последний кусок, как они уже кричали: «Ну, скорее, бабы», — а если надвигались тучи и грозил дождь, то они и вовсе не щадили нас. По их призыву надо было бросаться к граблям, становиться в ряд и работать под палящим солнцем, пока жара не спадет вместе с заревом заката. Какая живописная картина — русская деревня во время сенокоса! Сколько обаяния сохранила она для меня, стоит лишь вспомнить жирные луга вдоль нашей маленькой речки Воронки, усеянные пестрой толпой крестьян и крестьянок. В то время крестьяне носили еще традиционную национальную одежду: девушки — рубашки и сарафаны, женщины — паневы, завешанные фартуками, и мы с сестрой, чтобы от них не отличаться, одевались так же.

Домой возвращались в сумерках, веселой гурьбой, со смехом, песнями и плясками. Сестра Маша, шедшая во главе женщин, часто бросала грабли и, подозвав кого-нибудь из девушек, лихо пускалась с ней в пляс. Даже моя мать принимала иногда участие в сельских работах. Она надевала деревенское платье, брала грабли и присоединялась к нам. Но, не привыкши работать спокойно и равномерно, что необходимо при полевых работах, она сразу принималась слишком рьяно за дело, казавшееся ей вначале не трудным, и не рассчитывала своих сил. Однажды они ей изменили, она заболела и больше никогда уже не бралась за физический труд.

Отец целые дни проводил среди простого народа, который он любил, и работал наравне с крестьянами. Он считал, что труд есть обязанность человека. К тому же он чувствовал в детях некоторую симпатию к своему образу жизни и к тем идеям, согласно которым он жил... В то время отец был счастлив.

Зимой он снова садился за письменный стол. В те годы у него было уже немало учеников. Некоторые из них стали друзьями своего учителя и всех нас. Среди тех, которые наиболее тесно вошли в нашу жизнь, назову Бирюкова, Горбунова и Черткова. Позднее к ним присоединилась святая женщина — Мария Александровна Шмидт.

Чертков... вначале мы с Машей думали, что приобрели в нем ценного помощника для нашей главной обязанности, а именно для переписки рукописей отца. Чертков достал нам копировальный пресс: таким образом сохранялись копии всех писем. До тех пор мы довольствовались тем, что копировали лишь наиболее важные. Каждая запись в дневнике, который вел отец, едва сделанная, тут же копировалась, и копия передавалась Черткову. Одним словом, Чертков стал главной двигательной пружиной в работе отца.

В тот период деятельность отца и помогавших ему друзей сосредоточилась главным образом на печатании и распространении маленьких дешевых брошюр, предназначенных для замены очень бедной, как правило, духовной пищи, которая предлагалась тогда народу. Такова была задача «Посредника», издания которого распространялись по всей России в миллионах экземпляров. В виде таких брошюр появились в печати и наиболее известные рассказы Толстого. Там же впервые была напечатана «Власть тьмы». В «Посреднике» сотрудничали и другие крупные писатели, и сам народ внес туда свою долю безымянного сотрудничества. Мать любезно принимала учеников мужа: Бирюкова, Горбунова и даже самого Черткова. Их деятельность в «Посреднике» ее не беспокоила. И Толстой радовался гостеприимному приему, который его друзья у нее встречали.

«В тебе очень много хорошего, — пишет он ей, — твое отношение к Черткову и Бирюкову — радует меня»⁷⁴.

Но в 1895 г. произошло событие, имевшее огромное и роковое влияние на характер моей матери.

Несчастьем, перевернувшим всю ее жизнь, была смерть маленького 7-летнего Ванечки, ее последнего ребенка. Мать никогда не оправилась от этого удара.

Мои родители, в особенности мать, на закате лет сосредоточили на этом ребенке всю силу любви, на которую были еще способны. Исключительно одаренный, необыкновенно любящий, Ванечка был достоин этой любви и обнаруживал очень раннее умственное развитие. Когда отец бывал с ним в разлуке, он всегда упоминал его в письмах с большой нежностью: «Очень Ванечку люблю»; «Очень мил, больше, чем мил — хорош»⁷⁵. А ему он пишет: «Ванечка! Напиши мне письмо. Я тебя люблю! Папа»⁷⁶.

И вдруг этот ребенок в три дня умирает от скарлатины. Вскоре после этого горестного события в марте 1895 г. моя мать пишет сестре: «Вот, Таня, пережила же я Ванечку <...>. Утром, первое пробуждение после короткого мучительного сна — ужасно! Я вскрикиваю от ужаса, начинаю звать Ванечку, хочу его схватить, слышать, целовать, — и это бессилие перед пустотой, это ад! Не слышно никого и ничего в доме теперь. Это могильная тишина. Саша замерла в своем уголке и большими тоскливыми глазами смотрит на меня и плачет. Девочки свою потребность материнской любви всю перенесли на Ванечку, который бесконечно любил и ласкал всякого, и на всех у него хватало нежности, а теперь и для них исчез.

Левочка согнулся совсем, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний луч светлый его старости. На третий день смерти Ванечки он сидел, рыдал и говорил: „В первый раз в жизни я чувствую безвыходность“. Как больно было смотреть на него, просто ужас! Сломилло и его это горе. Съехались и сыновья. Илья прилетел в тот же день и очень согрел своим сочувствием, слезами и добротой. Сережа приехал в день похорон и теперь с нами. Бедный Лева только, к счастью, не был тут все время. Он живет в санаторной колонии доктора Ограновича, в трех часах езды от Москвы. Это бог его отвел вовремя от этого горя <...>

Левочка говорил, что он часто, глядя на то, как поправляется Ванечка, захлебывался от счастья <...>

Во вторник <...> вечером, 21 февраля Маша им читала вслух переделанный Верой Толстой рассказ Диккенса „Большие ожидания“, но под заглавием „Дочь каторжника“. Когда Ванечка пришел со мной прощаться, я спросила о чтении. Он ужасно грустно глядел и говорит:

— Не говори, мама, так все грустно, ужас! Эстелла вышла замуж не за Пипа!

Я его хотела развеселить, но вижу лицо у него ужасное. Я повела его вниз, он зевает и говорит со слезами:

— Ах, мама, опять *она, она!* (он говорил про лихорадку) <...>

Я положила градусник — 38 и 5 <...> Ночью он очень горел, но спал, утром послали за доктором, он сейчас же сказал, что это скарлатина. Уже жар был больше 40°. С этим вместе начались боли <...>. Ночью, в три часа, он опомнился, посмотрел на меня и говорит:

— Извини, милая мама, что тебя разбудили.

Я говорю:

— Я выспалась, милый, мы по очереди сидим.

— А теперь чей будет черед, Танин?

— Нет, Машин, — я говорю.

— Позови Машу, иди спать.

И начал меня целовать так крепко, крепко, нежно: вытягивая свои сухие губки и прижимался ко мне. Я спросила.

— Что болит?

Он говорит:

— Ничего не болит.

— Что же, тоска?

— Да, тоска.

После этого он уже почти не приходил в сознание. Весь день среду он горел, изредка стонал. Сыпь с утра скрылась. Его обертывали в простыню, намоченную в горчичную холодную воду, потом сажали в теплую ванну — ничего не помогло. Он все тише и тише дышал, стали холодеть ножки и ручки, потом он открыл глазки и затих <...> При нем были: Маша, Машенька (сестра Левочки), она все молилась и крестила его, няня и больше никого. Таня все убегала. Я сидела в другой комнате с Левочкой, и мы замерли в диком отчаянии.

<...> Прислали столько венков, цветов, букетов, что вся комната была, как сад. О заразе никто не думал. Все мы страстно примкнули и к друг другу, и к любви нашей к покойному Ванечке, все не расставались. Машенька жила у нас и разделяла с нами наше горе так хорошо и душевно.

На третий день, 25-го, его отпели, заколотили и поставили на наши большие четырехместные сани. Гробик и сани были завалены венками и цветами. Сели мы с Левочкой друг против друга и тихо двинулись <...>

На кладбище поехало очень много народу. Было тихо и тепло. Левочка дорогой вспоминал, как он, любя меня, ходил по этой дороге в Покровское, умилялся, плакал и очень ласкал меня словами и воспоминаниями <...> С саней опять нес гробик Левочка с сыновьями. Все плакали, глядя на старого, убитого горем отца. Да, подумай, Таня, естественно ли нам, седым, хоронить всю самую светлую нашу будущность в этом ребенке?

Как его опускали в яму, как засыпали землей — ничего не помню. Я вдруг куда-то пропала, смутно видела грудь Левочки, к которой он меня прижал, кто-то мне загораживал яму, кто-то держал меня. Потом я узнала, что это был Илюша. Он рыдал ужасно <...> Я же не пролила ни одной слезинки, не издала ни одного звука.

Опомнилась я, уже когда мы отъехали от могилки, при виде няни, которая из других саней раздавала большой толпе детей <...> калачики и большое количество мятных пряников <...>

Левочка, плача, мне говорил: „А я-то мечтал, что Ванечка будет продолжать после меня дело божье!“ <...> Смотреть на скорбь его еще ужаснее, чем самой скорбеть <...> Мы до того сжились с ним, что вечером он меня отпустить не мог сразу. Помолюсь с ним богу, я его, а он меня перекрестит, потом скажет: „Поцелуй меня покрепче, положи головку свою около моей, подыши мне на грудь, чтоб я заснул с твоим дыханием“. Когда он заболел, он говорил: „Вот это воля божья, что я опять заболел!“ <...>

С Ванечкой сразу кончился детский милый мирок, хотя часто безумный и веселый. Ни смеху, ни детских шагов, ни игр, ни елок, ни крашенья яиц и катанья, ни горячее первое говенье (он все просил позволить ему говеть), ни все то, что наполняло всю мою жизнь, могу сказать, с детства» ⁷⁷.

Отчаяние матери было так глубоко, что она едва не лишилась рассудка. Вначале она пережила период религиозной экзальтации и много времени проводила в молитве дома и в церкви. Отец был с ней исключительно нежен, и так как она совершенно не переносила одиночества, он и мы с сестрой Машей ни днем, ни ночью не отходили от нее. Отец ходил за ней в церковь, ожидал ее у входа и приводил домой. Ему, давно уже отошедшему от церкви, такое душевное состояние жены было чуждо. Чтобы отвлечь ее от личного горя, он пытался пробудить в ней мысль о горестях других людей. Он водил ее в тюрьмы, заставлял покупать книги

[illegible][illegible]

АВТОГРАФ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕЩАНИЯ ТОЛСТОГО. НАПИСАНО 22 ИЮЛЯ 1910 Г

Местонахождение подлинника неизвестно. Воспроизводится с фотографии, сделанной В. Г. Чертковым

Архив Толстого, Москва

для арестантов. Но ничто ее не интересовало. Даже собственные дети, даже Ясная Поляна.

Она пишет сестре: «Неужели возможно долго жить с такими страданиями? Все, все от меня отпало, и что ужаснее всего, что у меня осталось 8 человек детей, а я чувствую себя одинокой со своим горем и не могу прицепиться к их существованию, хотя они добры и ласковы со мной очень». «Нет для меня ничего: ни природы, ни солнца, ни цветов, ни купанья, ни хозяйства, ни даже детей. Все мертво, на всем могильная тоска» ⁷⁸.

Отчаяние сломало ее. Она всегда отличалась импульсивностью, очень неровным, беспокойным характером, легкой возбудимостью. Отец сразу же понял ее состояние. Он страдал и боялся за нее. «...ты так часто меняешься, — писал он ей, — что может быть завтра письмо будет уж другое» ⁷⁹.

А когда она ему созналась, что боится сойти с ума, он пишет: «То, что ты пишешь о психическом расстройстве, ужасный вздор» ⁸⁰. В действительности же он боялся. «Сижу и мучаюсь о твоем физическом и, главное, духовном состоянии и упрекаю себя». «Жаль, что ты не написала, как доехала. Ты очень была нервна, уезжая» ⁸¹.

После пережитого ею страшного несчастья моя мать неожиданношла в музыку занятие и развлечение, которое ее облегчало. Пребывание в Ясной Поляне одного из наших друзей — пианиста Танеева послужило толчком для произошедшей в ней перемены. Вот что пишет она через полтора года после смерти ребенка постоянной своей поверенной — своей сестре: «Моя жизнь вся сосредоточилась на музыке, только ею и живу, учусь, езжу в концерты, разбираю, покупаю ноты, но вижу, что во всем опоздала и успехов почти не делаю. Это своего рода помешательство, но чего же ждать от моей разбитой души? Я так и не пришла в нормальное состояние после смерти Ванечки <...>

Левочка стал со мной необыкновенно ласков и терпелив. Я последнее время как-то особенно чувствую его на себе влияние в смысле духовной охраны. Он понял потерю моего душевного равновесия и постоянно мне помогает добро и ласково» ⁸².

Вот во что превратилась ее жизнь, потрясенная горем.

А он? Даст ли он поколебать себя семейным радостям и несчастьям? Его сильная личность, миссия, к которой он чувствовал себя призванным, не допускали этого. Внутренняя работа, происходившая в нем, борьба с самим собой продолжались по-прежнему; никакие жизненные осложнения не могли прервать ее.

Уйти, уехать — оставалось, как и раньше, его мечтой. Но эта мечта становилась все менее и менее исполнимой по мере того, как жена становилась все более слабой, все более несчастной. Он был, как она выражалась, «защитником ее души». А она, что могла она дать ему взамен? Ничего. Замкнувшись в своем горе, она не занимала больше места во внутреннем мире того, кто, живя рядом с ней, страдал собственными своими страданиями. Она даже не замечала, что происходило в глубине его души, и не проявляла никакого интереса к фактам, свидетельствующим о напряженной внутренней работе, поглощавшей его.

Правда, она гостеприимно принимала тех, кого мы называли «темными». Но она не делала никаких усилий, чтобы понять, что же сближало их с ее мужем. В тот период его жизнь была постоянным и героическим усилием над самим собой. Ему было трудно применить к условиям жизни в Ясной Поляне, но он думал, что его долг мириться с ней насколько хватит сил.

А вот как он сам жил в то время. Проснувшись, он уходил в лес или в поле. По его словам, он ходил «на молитву», т. е. один на лоне природы он призывал лучшие силы своего «я» для исполнения дневного долга. Ему

редко удавалось провести одному эти утренние часы. Люди, нуждавшиеся в его материальной или духовной помощи, подкарауливали его у дома или на дороге, ожидая его прихода: бедняки и странники, нищие, собирающие милостыню, крестьяне, приходившие с просьбой или с каким-либо вопросом; люди стекались со всех концов света, чтобы поделиться с ним своими тревогами и попросить совета, не считая тех, которые сами являлись с советами. Три почтовых отделения выдавали ежедневно книги, письма, журналы и газеты: они поступали из всех углов мира.

Он старался по мере сил удовлетворить своих посетителей и корреспондентов. Затем он принимался за свой писательский труд. Нужно ли говорить это? Он писал теперь не для славы и еще менее для денег. Он писал, потому что считал своим долгом помочь людям понять Истину, которая ему была открыта и которая должна была принести людям счастье. И работа эта служила для него источником радости. В письме, адресованном одному молодому человеку в 1899 г., мы читаем: «Вы угадали, что мне радостно узнать о том, что у меня есть друзья на Дальнем Востоке.

Главное же то, что писания мои, доставившие мне так много счастья, доставляют такое же и другим, хотя и редким людям»⁸³.

Вечера он проводил с семьей и посетителями. Перед сном он заканчивал свою корреспонденцию и дневник.

Но мысль о перемене образа жизни не покидала его. Его друзья, да и не только друзья, полагали, что ему следует порвать с семьей, чтобы начать жить согласно своим убеждениям. Среди его посетителей были люди, которые составили себе на основании прочитанного представление о том, как живет Толстой. И когда они видели в доме слуг в белых перчатках, раскладывавших серебро и подававших кушанья, видели как играют в теннис, — они не скрывали своего разочарования и огорчения. Не зная всего того, с чем Толстой сообразовал свое поведение, они теряли веру в своего учителя.

Многие письменно выражали ему свое разочарование и упрекали его за непоследовательность, как они это называли. Это причиняло ему страдания. Но он считал истинными друзьями тех, кто писал ему в таком духе, и в своих ответах осуждал себя еще строже, чем это делали его корреспонденты. Он всем говорил, что если бы увидел человека, живущего, как он, и проповедующего то, что он проповедует, — он назвал бы его фариисеем. Подобные суждения о нем заставляли его глубже всматриваться в свою жизнь. Он не переставал спрашивать себя: «...хорошо ли я делаю, что молчу? <...> не лучше ли было мне уйти, скрыться?»

И ответ был таков: «Не делаю это преимущественно потому, что это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни. А я верю, что это-то перенесение этой жизни и нужно мне»⁸⁴.

Другу, настаивавшему на этом, он отвечает: «Одно могу сказать, что причины, удерживающие меня от той перемены жизни, которую вы мне советуете, и отсутствие которой составляет для меня мучение, что причины, препятствующие этой перемене, вытекают из тех самых основ любви, во имя которых эта перемена желательна и вам и мне. Весьма вероятно, что я не знаю, не умею или просто во мне есть те дурные свойства, которые мешают мне исполнить то, что вы советуете мне. Но что же делать? Со всем усилием моего ума и сердца я не могу найти этого способа и буду только благодарен тому, кто мне укажет его. И это я говорю совсем не с иронией, а совершенно искренне»⁸⁴.

И вот другой ответ на тот же вопрос:

Ясная Поляна, 17 февраля <19>10 г.

Ваше письмо глубоко тронуло меня. То, что вы мне советуете сделать, составляет заветную мечту мою, но до сих пор сделать этого не мог. Много

для этого причин (но никак не та, чтобы я жалел себя); главная же та, что сделать это надо никак не для того, чтобы подействовать на других. Это не в нашей власти и не это должно руководить нашей деятельностью. Сделать это можно и должно только тогда, когда это будет необходимо не для предполагаемых внешних целей, а для удовлетворения внутреннего требования духа, когда оставаться в прежнем положении станет так же нравственно невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет дыхания. И к такому положению я близок и с каждым днем становлюсь ближе и ближе.

То, что вы мне советуете сделать: отказ от своего общественного положения, от имущества и раздача его тем, кто считал себя в праве на него рассчитывать после моей смерти, сделано уже более 25 лет тому назад. Но одно, что я живу в семье с женою и дочерью в ужасных, постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты, не переставая и все больше и больше мучает меня, и нет дня, чтобы я не думал об исполнении вашего совета.

Очень, очень благодарю вас за ваше письмо <...>

Любящий вас Л. Толстой»⁸⁶

Однажды он высказывает такую мысль: «Если я покину свою семью, что случится? Другой, третий, сделает то же. И в результате, я пойду помогать другой семье, глава которой придет помогать моей семье и т. д.»⁸⁷

Я помню, мы возвращались как-то из Тулы вдвоем ночью в экипаже. Он начал думать вслух, как часто делал это в моем присутствии. Он говорил о людях, которых у нас в России называют юродивыми. Он объяснял мне, что эти люди часто умышленно делают вид, что отдаются тому или другому греху, чтобы вызвать за это осуждение ближних. Их цель развить в себе одну из главных христианских добродетелей: смирение. И он сказал, что то же самое происходит и с ним и что он дал людям предлог судить его за то, в чем в действительности он не был виновен.

После смерти отца было найдено следующее письмо, написанное им 8 июля 1897 г., о котором знали только моя сестра Маша и ее муж Николай Оболенский:

Дорогая Соня,

Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти, во-первых, потому что мне, с моими увеличивающимися годами, все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь, и все больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое уж в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие.

Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому, религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью.

Если бы открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно

должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты *не могла*, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, с свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и



РИСУНОК ТОЛСТОГО

Сделан для внучки Тани Сухотиной

Внизу надпись рукой Т. Л. Сухотиной-Толстой: «Папа (Л. Н.) нарисовал Танюшке в Кочетах 5 мая 1910 г.»

Архив Толстого, Москва

твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние 15 лет мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому, что не могу иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня.

Любящий тебя Лев Толстой⁸⁸

8 июля 1897 г.

Отъезд не состоялся. Он ждал еще тринадцать лет. Дневник, записки и письма, относящиеся к этому периоду жизни отца, обнаруживают странное состояние его духа: он переходит от страдания и отчаяния к радости и счастью. Вот несколько выдержек из его писем. Он мне пишет в 1902 г.: «Мне на душе хорошо и приятно». И в другом письме тоже после 1900 г.: «Я могу только благодарить бога и радоваться за все». «Странно, чем дальше двигаюсь я в жизни, все улучшается для меня». И в 1907 г.: «Я телом очень ослаб после болезни, но на душе все лучше и лучше»⁸⁹.

Но вернемся к его дневнику. В записях 1908 г. мы читаем: «Тяжело. Больно. Последние дни непрерывающий жар, и плохо, с трудом переносю. Должно быть, умираю. Да, тяжело жить в тех нелепых, роскошных условиях, в которых мне привелось прожить жизнь, и еще тяжелее умирать в этих условиях»⁹⁰.

«Все так же мучительно <...> Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд и страдание...» «Одно все мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недоложной нищеты, нужды, среди которых я живу. Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть»⁹¹.

Как объяснить эти страстные и противоречивые душевные порывы, терзавшие его? Я думаю, что чувства радости и удовлетворения были результатом совершавшейся в нем внутренней работы: он чувствовал ее успешность, которая выражалась новыми просветлениями. Но с другой стороны, внешние условия его жизни становились все нестерпимее: Ясная Поляна во время аграрных беспорядков (1905—1906 гг.) охранялась полицией. И непрерывно толпы праздных посетителей, с их сплетнями и разговорами, они угнетали его, они становились для него все более и более невыносимыми.

Он ждал чего-то, что должно было случиться и освободить его от нестерпимого противоречия его жизни. Но ничего такого не происходило. Напротив, положение ухудшалось. Жена, как бы сознавая одержанную победу, продолжала с еще большим спокойствием жить по собственному разумению, не считаясь с требованиями совести мужа. Сыновья вели независимый образ жизни, в котором идеям отца не оставалось места. Младшая сестра Александра была еще слишком молода. Мы с Машей уехали к своим мужьям. Он остался один.

«Мне иногда без вас, двух дочерей, грустно, — писал он мне и прибавлял, — хоть и не говоришь, а знаешь, что тебя понимают и любят то, что ты не то что любишь, а чем живешь»⁹².

Моя мать после пережитого ею большого горя не сумела найти успокоения. Она искала его всюду, но не там, где его можно было найти: в музыке, в живописи, в новых привязанностях... Но, чтобы успокоить болезненные порывы ее взволнованного сердца, нужны были иные средства. Ей не хватало какой-то моральной силы, которая помогла бы ей обратить во благо свои страдания. Она сделала неверный шаг, отказавшись следовать за мужем, и с тех пор все более и более сбивалась с правильного пути. Она все более и более начинает переносить свои интересы на самое себя, на свои переживания, беспокоиться о том, что подумают о ней люди.

Отец часто говорил, что расстройство ума — это только преувеличенный эгоизм.

И действительно, психические ненормальности моей матери выражались именно в этой форме. Если раньше она готова была беззаветно всю себя отдать другим, теперь она сделалась жертвой болезненной мнительности; что говорят, что станут говорить о ней? Не назовут ли ее когда-нибудь Ксантипой? У нее были некоторые основания опасаться этого, так как ее окружали люди, жалевшие ее мужа за то, что ему приходилось от нее переносить.

Преследуемая этим страхом, она потребовала пересмотра всех записей, которые ее муж ежедневно делал. Она хотела, чтобы там было вычеркнуто все, что могло бы впоследствии создать о ней дурное впечатление. Она стала оправдываться по всякому поводу и перед первыми попавшимися людьми, даже перед такими, которые и не помышляли ее в чем-либо обвинять. Она настойчиво объясняла, почему не последовала за мужем, старалась доказать, что это он сбился с правильного пути, надеясь таким образом оправдать свои попытки руководить им.

Летом 1909 г. я получила от сестры Александры телеграмму, срочно вызывавшую меня в Ясную. Я немедленно приехала и застала мать в постели.

В Ясной разыгралась целая драма. Отец решил ехать в Стокгольм прочесть доклад на Конгрессе мира. Мать с крайним упорством этому воспротивилась, считая поездку опасной для здоровья отца. Она решила не отпускать его. Натолкнувшись на сопротивление, она была ошеломлена и совершенно растерялась. Она то упрямо заявляла, что приложит все средства, чтобы настоять на своем, то говорила, что ей остается только умереть и что все хотят ее отравить.

К тому времени, когда я приехала, кризис уже прошел. Она лежала слабая и покорная. «Танечка, — сказала она мне, — ты знаешь, я думала, что меня хотят отравить. Душан (доктор Маковицкий, друг и ученик отца) меня заставлял глотать какие-то сладковатые порошки. Вообще он человек недобрый, но любит твоего отца. Я думала, что он хочет освободить его от меня». Я ее успокоила, как умела.

Это глубоко несчастное, больное и душевно совершенно одинокое существо внушило мне острую жалость. Если мать была одинока, в этом была, правда, ее собственная вина, но от этого она не меньше страдала. Отец любовно ухаживал за ней. Я уехала. Спокойствие восстановилось. На этот раз все обошлось.

Но по существу ничто, очевидно, не изменилось. Возникали новые поводы к раздражению, вызывавшие новые сцены и упреки.

Мать отказалась помогать отцу переписывать его рукописи. Нашелся, конечно, кто-то другой, кто ее заменил. Тогда она вдруг спохватилась: значит ее отстраняют, значит она больше не нужна, значит муж ищет посторонней помощи, тогда как раньше все было в ее руках. Что делать? Она не могла уж, как прежде, интересоваться его работами, ставшими ей совершенно чуждыми и в которых она не сумела бы принять участия. Но она страдала, ей было обидно молча присутствовать при напряженной работе, происходившей тут же, рядом с ней. Наконец, она не выдержала и разразилась бранью против самих работ отца как таковых. Для нее же стало хуже. Работу продолжали, но прячась от нее. Положение ее как хозяйки дома сделалось невыносимым. Когда она проходила через комнату, отведенную для переписки на машинке, ее дочь, Александра, и секретарь отца прекращали копировку и умолкали, а иногда во избежание объяснений даже убирали переписываемую рукопись. Атмосфера подозрения, на которую она наталкивалась в этой комнате, не ускользала от ее пронизательности и раздражала ее. Зачатки нервозности, которые можно было проследить в ней с юности, развились теперь до того, что перешли в душевную болезнь. Она потеряла всякую власть над собой, и острые нервные припадки все учащались.

Все это было чрезвычайно тяжело для отца. Он не мог больше работать, часто страдал бессонницей, а нравственные пытки, которые ему приходилось переносить, отражались на его здоровье. Он силился принять эти страдания как искупление своих грехов. Он старался найти в них поводы, побуждающие к смирению. 16 июля 1910 г. он пишет в дневнике: «Мне надо только благодарить бога за мягкость наказания»⁹³.

Это лето 1910 г., свое последнее лето, каждый день которого был отмечен новым страданием, отец почти все провел вне Ясной Поляны. В мае он был у меня в Кочетах — имении моего мужа. В июне поехал к Черткову, который жил тогда в арендованной им усадьбе Мещерское, в Московской губернии. Находясь у своего друга, отец продолжал разбираться в создавшемся положении и искать выхода.

«Хочу, — пишет он в дневнике, — попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью. Издалека кажется возможным. Постараюсь и

вблизи исполнить». «Нам дано одно, но зато неотъемлемое: благо любви. Только люби, и все радость — и небо, и деревья, и люди, и даже сам. А мы ищем благо во всем, только не в любви» ⁹⁴.

В Мещерском отец получил телеграмму от жены. Она вызывала его и умоляла вернуться. Он вернулся. «Нашел ее еще хуже, чем ожидал: истерика и раздражение. Нельзя описать» ⁹⁵.

Но этих испытаний оказалось еще мало, и к ним прибавилось новое: мой брат Лева вмешался в дела родителей, взяв на себя роль судьи отца и защитника матери. Отец пишет: «Лева — большое и трудное испытание» ⁹⁶.

А дни шли за днями. Он отмечал в своем дневнике происходившие события и изменения в состоянии жены. Эти записи свидетельствуют, что оно все ухудшалось: «Соня опять в том же раздраженном истерическом состоянии. Очень было тяжело»; «Соня опять возбуждена, и опять те же страдания обоих»; «Ужасная ночь <...> Жестокая и тяжелая болезнь» ⁹⁷.

Мы видим, что отец смотрел на жену как на больную. Но многие из его окружения, в том числе доктор Маковицкий, считали, что она играет комедию, что она совершенно нормальна, а ее мнимая истерия лишь способ добиваться своей цели. Именно тогда, в июле 1910 г., отец составил последнее свое завещание, которое и было впоследствии приведено в исполнение.

Он написал уже одно завещание во время пребывания в Мещерском у Черткова. По этому акту он отдавал в общее пользование все свои произведения без исключения. Но юрист указал, что такое завещание невыполнимо, так как закон требует назначения наследника. Это и побудило отца назначить своей наследницей младшую дочь Александру. А если бы я пережила свою сестру, он назначал наследницей меня. Саша, а в случае необходимости и я, — мы должны были передать все сочинения отца в общее пользование. В особом приложении к завещанию отец поручал Черткову распоряжение и редактирование всех его рукописей.

Матери об этом ничего не сообщили. Но некоторые намеки и недомолвки, какое-то предчувствие заставили ее заподозрить, что завещание существует. С этой минуты она ни днем, ни ночью не переставала искать вещественных доказательств своих подозрений.

Таким образом, отец, в прошлом никогда ничего не скрывавший от жены, имел теперь от нее тайну, которую хотел от нее сохранить. Это привело к очень тяжелым для него последствиям. Ему приходилось прятать от нее рукописи и дневник. А она всю свою энергию тратила на то, чтобы найти разгадку тайны — тайны своего мужа — от нее, его жены. Она подслушивала под дверь, когда отец с кем-нибудь разговаривал. Когда его не было в комнате, она, не стесняясь, рылась в его бумагах.

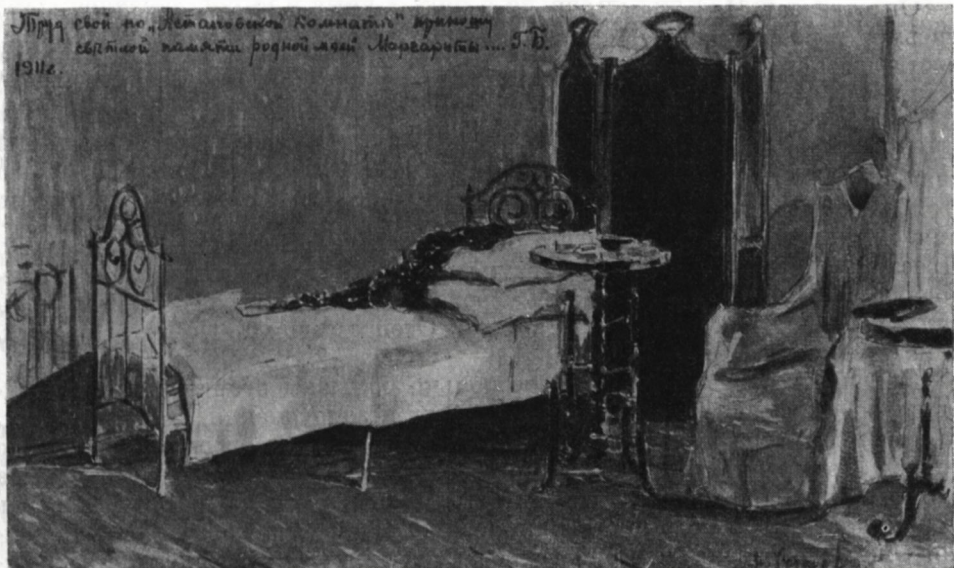
Отец начал тогда вести дневник «Для одного себя», как он его называл. Маленький формат позволял его прятать: он носил его обычно на себе, под рубашкой или в сапоге. В конце концов, хотя и с трудом, он привык к тому, что с его другого дневника копия снималась, когда чернила еще не успевали высохнуть.

Он пишет: «Да, у меня нет уж дневника откровенного, простого. Надо завести» ⁹⁸.

Этот другой дневник он начал 29 июля 1910 г. Он открывается так: «Начинаю новый дневник, настоящий дневник для одного себя. Нынче записать надо одно: то, что если подозрения некоторых друзей моих справедливы, то теперь начата попытка достичь цели лаской. Вот уже несколько дней она целует мне руку, чего прежде никогда не было, и нет сцен и отчаяния. Прости меня бог и добрые люди, если я ошибаюсь. Мне же легко ошибаться в добрую любовную сторону. Я совершенно искренне могу любить ее».

А на следующий день он пишет: «Чертков» вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела, и противна мне»⁹⁹.

Написав свое завещание, Лев Николаевич не переставал сомневаться, он спрашивал свою совесть: хорошо ли он поступил или плохо? И когда наш друг Поша Бирюков посетил его и выразил ему сожаление по поводу всей этой тайны, отец сразу же с ним согласился. 2 августа после этого разговора он пишет: «Вчера говорил с Пошей, и он очень верно сказал мне, что я виноват тем, что сделал завещание тайно. Надо было или сделать это явно, объявив тем, до кого это касалось, или все оставить, как было, —



КОМНАТА, ГДЕ УМЕР ТОЛСТОЙ

Акварель В. А. Симона, 1910 г.

Надпись (посвящение актрисе М. Г. Савицкой) сделана Г. С. Бурджаловым, одним из организаторов мемориальной комнаты Толстого в Астапове

Музей Московского Художественного театра

ничего не делать. И он совершенно прав, я поступил дурно и теперь плачусь за это. Дурно то, что сделал тайно, предполагая дурное в наследниках, и сделал, главное, несомненно дурно тем, что воспользовался учреждением отрицаемого мной правительства, составив по форме завещание. Теперь я ясно вижу, что во всем, что совершается теперь, виноват только я сам. Надо было оставить все, как было, и ничего не делать. И едва ли распространяемость моих писаний окупит то недоверие к ним, которое должна вызвать непоследовательность в моих поступках»¹⁰⁰.

И в тот же день, 2 августа, он записывает в дневнике: «Очень, очень понял свою ошибку. Надо было собрать всех наследников и объявить свое намерение, а не тайно. Я написал это Черткову. Он очень огорчился»¹⁰¹.

Чертков ответил отцу длинным письмом, которое появилось недавно в книге Гольденвейзера, выход которой в свет и послужил одной из причин, побудивших меня прервать молчание. Оно занимает 11 печатных страниц.

В этом документе Чертков разглагольствует о том, «о чем думала» графиня Толстая. Он вскрывает «ее намерения по отношению к произведению мужа». Он предвидит, что она и некоторые из ее сыновей ответили бы друзьям Толстого, если бы те объявили в печати, что хотят выпустить

издание трудов своего учителя. Он изображает, как один из сыновей этого учителя, размахивая неоконченным рассказом отца «Фальшивый купон», выкрикивает, что выколотит из фальшивого купончика... «100 тысяч чистоганом»¹⁰². Я спросила брата, и он категорически отрицал, что нечто подобное имело место или говорилось.

Отец был глубоко оскорблен тем, что Чертков писал о его семье. И он отмечает: «Длинное письмо от Черткова, описывающее все предшествовавшее. Очень было грустно, тяжело читать и вспоминать. Он совершенно прав, и я чувствую себя виноватым перед ним. Поша был неправ. Я напишу тому и другому»¹⁰³.

Он отвечает Черткову: «Два главные чувства вызвало во мне ваше письмо: отвращение к тем проявлениям грубой корысти и бесчувственности, которые я или не видел, или видел и забыл; и огорчение и раскаяние в том, что я сделал вам больно своим письмом» (письма этого я не знаю). И он добавляет, что все-таки он недоволен тем, что сделал: «...чувствую,— пишет он, — что можно было поступить лучше, хотя я и не знаю как»¹⁰⁴.|

Как только у матери явилось подозрение, что вдохновителем завещания являлся Чертков, она его возненавидела. Она ревновала к нему. Преследуемая этим чувством, безумствуя, она кончила тем, что потребовала от Льва Николаевича под угрозой самоубийства, чтобы он прекратил всякие отношения с Чертковым. Отец уступил. Не по слабости, а из чувства долга.

Не видеться с другом было не только большим огорчением для Толстого, но было связано с рядом неудобств и затруднений. В Телятинках, за три километра от Ясной, концентрировалась вся огромная работа по трудам Льва Николаевича. Вместо того, чтобы видеться и решать дела на словах, приходилось обо всем писать. Эта переписка в свою очередь причиняла матери острые страдания. Отсутствие Черткова ее не успокоило. Она подозревала, что они встречаются тайно. И она следила за каждым шагом мужа.

Лев Николаевич пишет 5 августа в дневнике, — в том, который носил в сапоге: «Совестно, стыдно, комично и грустно мое воздержание от общения с Чертковым». Вчера утром <С. А.> была очень жалка без злобы. Я всегда так рад этому — мне так легко жалеть и любить ее, когда она страдает, а не заставляет страдать других». Но на следующий день: «Сейчас встретил<...>Софью Андреевну. Она идет скоро, страшно взволнованная. Мне очень жалко стало ее. Сказал дома, чтобы за ней посмотрели тайно, куда она пошла. Саша же рассказала, что она ходит не без цели, а подкарауливая меня. Стало менее жалко. Тут есть недоброта, и я еще не могу быть равнодушен, — в смысле любви к недоброму. Думаю уехать, оставив письмо, хотя думаю, что ей было бы лучше»¹⁰⁵.

«Ей было бы лучше» — вот одна из причин ухода моего отца несколькими неделями позднее. Он думал, что это пойдет на пользу больной. С другой стороны, — привольная жизнь Ясной Поляны, условия этой жизни, неприемлемые для него со времени его второго рождения, были трудно переносимы для 82-летнего старца, у которого не было иных интересов, кроме самых отвлеченных, религиозных интересов.

20 августа 1910 г. он пишет: «...вид этого царства господского так мучает меня, что подумываю о том, чтобы убежать, скрыться»¹⁰⁶.

Он часто с завистью говорил об индусах, которые к старости удаляются от мира и живут в одиночестве. Он давно уже тайно лелеял мечту: провести остаток дней в скромных условиях, окруженным простым народом, который он любил. Чаша весов колебалась под тяжестью его противоречивых решений, но в последнее время равновесию с каждым днем все больше угрожала опасность.

В августе я приехала за отцом, чтобы увезти его к себе в Кочеты. Я хотела, чтобы он отдохнул в моей семье от тревог последних месяцев. С первого дня моего приезда в Ясную мать пустила в ход всю свою ловкость, чтобы добиться возможности поехать с нами.

Она то ссылалась на свою болезнь, то начинала возмущаться тем, что ее хотят удалить от мужа, чтобы он *отдохнул* в разлуке с ней. «Отдохнул! — говорила она, — От чего? От моей любви? От моей заботы? Что бы ты сказала, если бы увезли твоего мужа, чтобы он *отдохнул* в разлуке с тобой?» Кончилось тем, что она прибегла к решающему аргументу: однажды, когда я была у отца в кабинете, она вошла и со слезами стала умолять нас взять ее с собой. Она боялась остаться одна. Она торжественно обещала, что оставит его в покое. Случилось то, что должно было случиться. Мы преисполнились жалости и согласились. Мой отец писал в этот же день, 14 августа 1910 г.: «Все хуже и хуже. Не спала ночь. Выскочила с утра <...> Потом рассказывала ужасное <...> Страшно сказать <...> Буду терпеть. Помогите бог. Всех измучила и больше всего себя. Едет с нами»¹⁰⁷.

И мы уехали вшестером: отец, мать, сестра Александра, доктор Маковицкий, я и последний секретарь моего отца Булгаков. Во время пребывания у меня все шло хорошо. Через две недели, вызванная делами, мать вернулась в Ясную. Отец отметил ее отъезд: «Уезжая, трогательно просила прощения», «У меня к ней много любви, основанной на жалости. Я написал из сердца вылившееся письмо Соне»¹⁰⁸.

Вот это письмо: «Ты меня глубоко тронула, дорогая Соня, твоими хорошими и искренними словами при прощанье. Как бы хорошо было, если бы ты могла победить то — не знаю как назвать — то, что в самой тебе мучает тебя! Как хорошо было бы и тебе и мне. Весь вечер мне грустно и уныло. Не переставая думаю о тебе. Пишу то, что чувствую, и не хочу писать ничего лишнего. Пожалуйста пиши. Твой любящий муж Л. Т.»¹⁰⁹

На следующий день после ее отъезда он отмечает, что ему грустно без нее, что он боится за нее и тревожится.

Мать уехала, но отец не оставался без вестей: из Ясной, как и из Телятинков, люди, посылавшие ему копии с его дневника, прибавляли к ним отчеты о действиях и словах Софьи Андреевны: «Мне, слава богу, все равно, но ухудшает мое чувство к ней. Не надо»¹¹⁰. Таково первое впечатление от полученного известия. А доносы продолжались, и вот второе: «От Гольденвейзера письмо с выпиской, ужаснувшей меня»; «...письма из Ясной ужасны»¹¹¹.

Мать просила мужа вернуться к 48-й годовщине их свадьбы. Он согласился и вернулся в Ясную 22 сентября ночью. Последняя запись в его дневнике сделана накануне: «Еду в Ясную, и ужас берет при мысли о том, что меня ожидает <...> А главное молчать и помнить, что в ней душа — бог»¹¹².

Этимися словами заканчивается первая тетрадь дневника «Для одного себя» Льва Толстого.

Увы, в Ясной Поляне отца ожидали все те же тревоги, что и в предыдущие месяцы. Мать, продолжая поиски, наткнулась на маленькую книжку: это был секретный дневник. Она схватила и спрятала его. Отец подумал, что он его потерял, и начал другую книжку. На ней поставлена дата 24 сентября. «За завтраком начался разговор о Д. М. (т. е. о статье „Детская мудрость“, которую писал отец), что Чертков-коллекционер собрал. Куда он денет рукописи после моей смерти? Я немного горячо попросил оставить меня в покое. Казалось — ничего. Но после обеда начались упреки, что я кричал на нее, что мне бы надо пожалеть ее. Я молчал. Она ушла к себе, и теперь 11-й час, она не выходит, и мне тяжело.

<...> Иногда думается: уйти ото всех»¹¹³.

Я вернулась в Ясную в октябре. Там творилось нечто ужасное! Сестра Александра после ссоры с матерью переехала в свое маленькое имение по соседству с Ясной. Чертков больше не показывался. Мать не переставая жаловалась на всех и на вся. Она говорила, что переутомилась, работая над новым изданием сочинений отца, которое она готовит, измучена постоянными намеками на уход, которым отец ей грозит. Она добавляла, что не знает, как держать себя по отношению к Черткову. Не принимать его больше? Муж будет скучать в его отсутствие и упрекать ее за это. Принимать его? Это было выше ее сил. Один взгляд на его портрет уже вызывал у нее нервный припадок. Именно тогда она и потребовала от отца, чтобы все его дневники были изъяты от Черткова. Отец и на этот раз уступил. Но эта непрерывная борьба довела его до последней степени истощения.

3 октября у него сделался сердечный припадок, сопровождавшийся судорогами. Мать думала, что наступил конец. Она была уничтожена. У нее вдруг открылись глаза на происходившее. Она признала себя виновной, поняла, какая доля ответственности за болезнь мужа лежит на ней. Она то падала на колени в изножье его кровати и обнимала его ноги, которые сводили конвульсии, то убегала в соседнюю комнату, бросалась на пол, в страхе молилась, лихорадочно крестясь и шепча: «Господи, господи, прости меня! Да, это я виновата! Господи! Только не теперь еще, только не теперь!».

Отец выдержал припадок. Но только еще больше сгорбился, а в его светлых глазах появилось еще больше грусти.

Во время этой болезни сестра Александра вернулась домой и помирилась с матерью, а мать, призвав на помощь все свое мужество, попросила Черткова возобновить посещения Ясной Поляны. На нее было жалко смотреть в тот вечер, когда после своего приглашения она ждала его первого визита. Она волновалась, было видно, что она страдает. Возбужденная, с пылающими щеками, она наполняла дом суетой. Она поминутно смотрела на часы, подбегала к окну, затем бежала к отцу, который находился в своем кабинете. Когда Чертков приехал, она не знала, что ей делать, не находила себе места, металась от одной двери к другой, ведущей в кабинет мужа. Под конец она бросилась ко мне на шею и разразилась горькими рыданиями. Я старалась ее успокоить и утешить. Но ее больное сердце не могло уже найти покоя.

Дальше все шло хуже и хуже. 25 октября, за три дня до своего ухода, отец пишет: «Все то же тяжелое чувство. Подозрения, подсматривание и грешное желание, чтобы она подала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об ее положении, и жаль, и тоже не могу...» В тот же день он пишет: «Всю ночь видел мою тяжелую борьбу с ней. Проснулся, заснул и опять то же»¹¹⁴.

Еще два дня, и вот в ночь с 27 на 28 октября ему был нанесен удар, которого он ждал, и он покинул навсегда Ясную Поляну.

Вот как он отмечает это событие в своем дневнике: «28 октября 1910 г. Лег в половине 12 и спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, слышал отворение дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает <...> Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая о здоровье и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только

бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу, они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет — сцена, истерика и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу все кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать <...> Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне» ¹¹⁵.

Последний отрывок можно сравнить со словами из проекта завещания, набросанного Толстым в дневниковой записи от 27 марта 1895 г.: «У меня были времена, когда я чувствовал, что становлюсь проводником воли божьей <...> это были счастливейшие минуты моей жизни» ¹¹⁶.

Меня не было в Ясной Поляне ни 27, ни 28 октября. 28 под вечер я получила телеграмму от сестры Александры: «Приезжай немедленно». Я тотчас же выехала. На станции Орел знакомый швейцар передал мне две телеграммы, адресованные отцу. Одна гласила: «Возвращайся как можно скорее. Саша». И другая: «Не беспокойся. Действительно только телеграммы подписанные *Александра*».

Сравнив оба текста, я поняла, что первая телеграмма была ложной.

Утром я приехала в Ясную. Там царил полная растерянность. Все братья, кроме Левы, который был в Париже, уже успели съехаться. Состояние матери внушало опасения. Когда 28 утром ей передали письмо оставленное отцом, она убежала из дома и бросилась в пруд. Ее вытащили. После этого она сделала еще несколько попыток самоубийства. Убедившись, что, находясь под неотступным наблюдением, она не может покончить с собой, она объявила, что уморит себя голодом.

Это были мрачные дни. Каждый из нас, детей, написал отцу. Он нам ответил 31 октября 1910 г.:

Благодарю вас очень, милые друзья, истинные друзья — Сережа и Таня, за ваше участие в моем горе и за ваши письма. Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно: коротко, ясно и содержательно, и,



С. А. ТОЛСТАЯ У ДОМА НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ ОЗОЛИНА В АСТАПОВЕ

Кадр из кинофильма Дранкова и Патэ «Похороны Л. Н. Толстого», 1910 г.

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР Москва

главное, добро. Не могу не бояться всего и не могу освобождать себя от ответственности, но не осилил поступить иначе. Я писал Саше через Черткова о том, что я просил его сообщить вам — детям. Прочтите это. Я писал то, что чувствовал и чувствую то, что не могу поступить иначе. Я пишу ей — мамá. Она покажет вам тоже. Писал, обдумавши, и все, что мог. Мы сейчас уезжаем, еще не знаем куда <...> Сообщение всегда будет через Черткова.

Прощайте, спасибо вам, милые дети, и простите за то, что все-таки я причина вашего страдания. Особенно ты, милая голубушка Танечка. Ну вот и все. Тороплюсь уехать так, чтобы, чего я боюсь, мамá не застала меня. Свидание с ней теперь было бы ужасно. Ну, прощайте.

4-й час утра. Шамардино.

Л. Н.¹¹⁷

Никто, кроме Александры, не знал, где он находился. Александра поехала к нему, дав нам слово, что известит нас, если отец заболит. Брат Сергей вернулся в Москву. Когда он уехал, все стало нам казаться еще мрачнее, а то, что нас ожидало, еще более страшным. Я не сомневалась, что перемена жизни означала для отца конец.

Мать тоже внушала мне опасения. И лично за нее, а также и потому, что я знала, что если попытка самоубийства ей удастся, отец никогда уже не обретет ни покоя, ни счастья. Мы вызвали психиатра и сестру милосердия, которые не отходили от ее постели.

Через несколько дней после отъезда Александры, Булгаков, живший у Черткова в Телятинках, пришел ко мне и сообщил по секрету, что отец заболел и что Чертков поехал к нему.

— А где же он заболел?

— Чертков запретил мне об этом говорить.

— Далеко ли? В России? За границей?

Я засыпала Булгакова вопросами, на которые он не мог отвечать. Чертков ему запретил.

— Неужели Чертков не понимает, что мне необходимо это знать, и почему он запретил говорить мне?

— Не знаю, — ответил Булгаков. И это таким тоном, словно хотел сказать: я и сам не понимаю. Он заставил меня поклясться, что я никому не открою тайны, которую он мне доверил.

Можно себе представить, какую тревожную ночь провела я после этого сообщения!

Отец умирает где-то поблизости, а я не знаю, где он. И я не могу за ним ухаживать. Может быть, я его больше и не увижу. Позволят ли мне хотя бы взглянуть на него на его смертном одре? Бессонная ночь. Настоящая пытка. И всю ночь из соседней комнаты до меня доносились рыдания и стоны матери. Вставши утром, я еще не знала, что делать, на что решиться. Но нашелся неизвестный нам человек, который понял и сжалился над семьей Толстого. Он телеграфировал нам: «Лев Николаевич в Астапове у начальника станции. Температура 40°». До самой смерти буду я благодарна корреспонденту «Русского слова» Орлову.

Я разбудила мать и братьев. Мы поехали в Тулу. В Астапово ходил только один поезд в день. Мы на него опоздали. Мы заказали специальный поезд.

Перед отъездом из Ясной моя мать с лихорадочной поспешностью обо всем подумала, обо всем позаботилась. Она взяла с собою все, что могло понадобиться отцу, она ничего не забыла. Но если голова ее была ясна, то в сердце не было доброты. В те дни мы, дети, сердились на нее и осуждали ее. Мы не могли не видеть, что она была причиной всего происшедшего и, не обнаруживая в ней и следа раскаяния, были не в состоянии простить ее.

В Астапове наш вагон отцепили и поставили на запасный путь. Мы

устроились в нем и решили жить там, пока это будет нужно. Чтобы не допустить мать к отцу, мы объявили, что тоже не пойдем. Один только брат Сергей, вызванный Александрой и приехавший раньше нас, входил в комнату, где лежал отец. Но отец случайно узнал, что я тут, и спросил, почему я не захожу. Задышавшись от волнения, я побежала к домику начальника станции. Я боялась, что отец будет меня спрашивать о матери, а я не приготовилась к ответу. Ни разу в жизни я не лгала ему, и я знала, что в такую торжественную минуту не в состоянии буду сказать ему неправду. Когда я вошла, он лежал и был в полном сознании. Он сказал мне несколько ласковых слов, а потом спросил: «Кто остался с мамой?» Вопрос был так поставлен, что я могла ответить, не уклоняясь от истины. Я сказала, что при маме сыновья и, кроме того, врач и сестра милосердия. Он долго меня расспрашивал, желая знать все подробности. А когда я сказала: «Может быть, разговор на эту тему тебя волнует?», он решительно меня прервал: «Говори, говори, что может быть для меня важнее?». И он продолжал меня о ней расспрашивать долго и подробно.

После этого первого посещения я уже свободно входила к нему, и на мою долю выпало счастье видеть его часто в последние дни его жизни. Мне очень хотелось, чтобы он позвал к себе мать. Я страстно желала, чтобы он примирился с нею перед смертью. Александра разделяла мои чувства. Но было ясно, что он боится свидания. В бреду он повторял: «Бежать, бежать»... Или: «Будет преследовать, преследовать». Он попросил занавесить окно, потому что ему чудилось в нем лицо смотревшей оттуда женщины. Он продиктовал телеграмму сыновьям, которые, как он думал, находились при матери в Ясной: «Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мамой было бы для меня губительно»¹¹⁸.

Как-то раз, когда я около него дежурила, он позвал меня и сказал: «Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились».

От волнения у меня перехватило дыхание. Я хотела, чтобы он повторил сказанное, чтобы убедиться, что я правильно поняла, о чем идет речь. — «Что ты сказал, папá? Какая со... сода?..»

И он повторил: «На Соню, на Соню многое падает»¹¹⁹.

Я спросила: «Хочешь ты видеть ее, хочешь видеть Соню?» — Но он уже потерял сознание. Я не получила ответа — ни знака согласия, ни знака отрицания. Я не посмела повторить вопрос, мне казалось, что, повторив, я могу загасить еле мерцающий огонек.

Поведение матери трудно было понять. То она заявляла, что не сумасшедшая и сама понимает, что если он ее увидит, это может его убить, то говорила, что все равно хуже не будет, что в любом случае она его больше не увидит. То начинала плакать и жаловаться, что не она за ним ухаживает: «Сказать только, я прожила с ним сорок восемь лет, и не я ухаживаю за ним, когда он умирает...».

Мы чувствовали всю чудовищность такого положения. Но, поскольку отец не звал ее, мы не считали возможным пустить ее к нему.

Один раз я сидела у изголовья отца и держала его руку, эту руку, которую так любила и которую не могла видеть без волнения, помня, сколько она, послушная его духу, передала человечеству. Он дремал с закрытыми глазами. И вдруг я слышу его голос: «И вот конец, и... *ничего*». Я вижу, как он бледнеет, слышу, как дыхание его становится все прерывистее. Я говорю себе, что это, наверное, конец, и чувствую, как от страха у меня шевелятся волосы на голове и кровь застывает в жилах. Встать же и позвать кого-нибудь не могу — он держит мою руку и при малейшей попытке высвободить удерживает ее.

Наконец, кто-то входит, и я посылаю за врачом. Ему делают укол камфары, и краски снова появляются на его лице, дыхание понемногу выравнивается.

Вдруг он энергично поднимается, садится и ясным, сильным голосом говорит: «Только одно советую вам помнить: есть много людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы все смотрите на одного Льва».

Последние слова он произносит тише и падает на подушку. 6 ноября, накануне смерти, он позвал: «Сережа!» и когда тот подошел, он тихим голосом с большим усилием сказал:

«Сережа! Я люблю истину... Очень... люблю истину»¹²⁰. Это были его последние слова.

Будучи еще совсем молодым человеком, он гордо объявил, что его герой, которого он любит всеми силами своей души, это — Истина. И до того дня, когда он слабым голосом сказал своему старшему сыну, своему «истинному другу», что он любил Истину, он никогда не изменял этой Истине. «Узнаете Истину, и Истина сделает вас свободными». Он это знал и служил Истине до смерти.

В 10 часов вечера того же дня Сергей пришел к нам в вагон и сказал, что дело плохо. Мы не знали, следует ли предупредить мать. Каждый высказал свое мнение, и мы решили сперва удостовериться, каково состояние отца, и в зависимости от обстоятельств звать или не звать ее. Но не успели мы с Сергеем дойти до домика, где лежал отец, как заметили, что мать идет за нами. Мы вошли. Отец был без сознания. Доктора сказали, что это конец. Мать подошла, села в его изголовье, наклонясь над ним, стала шептать ему нежные слова, прощаться с ним, просить простить ей все, в чем была перед ним виновата. Несколько глубоких вздохов были ей единственным ответом.

Так в уединенном уголке Рязанской губернии, в домике начальника станции, оказавшего ему приют, умер мой отец. Я сознательно говорю: мой отец, так как я писала только как дочь. Великий писатель Толстой принадлежит мне не более, чем всем другим. Что до меня, то я просто хотела рассказать об этих двух дорогих мне людях, об их любви, об их страданиях и радостях, одним словом, об их жизни — то, что я считаю скромной правдой.

Моя мать пережила отца на 9 лет. Она умерла в Ясной Поляне в ноябре 1919 г. и так же, как ее муж, от воспаления легких. Она умерла, окруженная детьми и внуками. К ее радости, дочь Александра, с которой у нее раньше были такие глубокие разногласия, с исключительной нежностью ухаживала за ней до самого конца. Она сознавала, что умирает. Покорно ждала смерти и приняла ее смиренно. За последние годы она успокоилась. То, о чем мечтал для нее муж, частично исполнилось, с ней произошло превращение, за которое он готов был пожертвовать своей славой. Теперь ей стали менее чужды мировоззрения нашего отца. Она стала вегетарианкой. Она была добра к окружающим. Но она сохранила одну слабость: ее страшила мысль, что о ней будут писать и говорить, когда ее не станет, она боялась за свою репутацию. Вот почему она не пропускала случая оправдаться в своих словах и поступках. Она ничем не пренебрегала, лишь бы защитить себя, желая заранее отклонить удары, которые, она знала, будут нанесены ей впоследствии. И она знала — кем. В последний период жизни она часто говорила о своем покойном маленьком сыне и о своем муже. Она сказала мне однажды, что постоянно думает о нашем отце, и добавила: «Я плохо жила с ним, и это меня мучает...».

Такова в основном жизнь этих двух людей, столь же связанных взаимной любовью, сколь и разобщенных в своих стремлениях. Бесконечно близкие друг другу и в то же время бесконечно далекие. Еще один пример извечной борьбы между величием духа и властью плоти.

И кто возьмет на себя смелость указать виновного? Разве может дух отказаться от защиты своей свободы?.

И разве можно вменить в вину плоти, если она борется за свое существование? Можно ли обвинять мою мать в том, что она не была в состоянии следовать за мужем на его высоты? Это было больше ее несчастьем, нежели виной. И это несчастье ее сломило.

А отец, разве он был виноват, что хотел спасти в себе то «нечто», следы которого он в себе порою ощущал, и спасти это ценой своей жизни?

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

- ¹ Дневник от 2 и 22 июля 1852 г.— т. 46, стр. 131, 136.
- ² Дневник от 24 марта 1847 г.— т. 46, стр. 15.
- ³ Дневник от 7 и 17 апреля 1847 г.— т. 46, стр. 29, 31.
- ⁴ Дневник от 18 апреля 1847 г.— т. 46, стр. 32.
- ⁵ Дневник от 14 и 16 июня 1847 г.— т. 46, стр. 32.
- ⁶ Дневник от 3 июля 1854 г.— т. 47, стр. 5.
- ⁷ Дневник от 27 июля 1854 г.— т. 47, стр. 18.
- ⁸ Дневник от 4 января и 8 августа 1857 г., 15 июня и 1 августа 1854 г.— т. 47, стр. 109, 151, 4, 19.
- ⁹ «Исповедь» — т. 23, стр. 4.
- ¹⁰ Дневник от 12 сентября 1862 г.— т. 48, стр. 44.
- ¹¹ Дневник от 16 и 25 сентября 1862 г.— т. 48, стр. 45, 46.
- ¹² Дневник от 18 июня 1863 г.— т. 48, стр. 54.
- ¹³ С. А. Толстая. Дневники (1860—1891 гг.). М., 1928, стр. 51—53. Запись от 8 октября 1862 г.
- ¹⁴ Там же, стр. 55—56. Запись от 13 ноября 1862 г.
- ¹⁵ Там же, стр. 57. Запись от 23 ноября 1862 г.
- ¹⁶ Там же, стр. 59. Запись от 16 декабря 1862 г.
- ¹⁷ Дневник от 24 марта 1863 г.— т. 48, стр. 53.
- ¹⁸ С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 2, стр. 14. Авторизов. машинопись.—АТ.
- ¹⁹ Там же, стр. 96.
- ²⁰ Там же, стр. 161.
- ²¹ Дневник от 19 марта 1865 г.— т. 48, стр. 60.
- ²² С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 2, стр. 242. Январь 1867 г. (ср. также: С. А. Толстая. Автобиография.— «Начала», 1921, № 1, стр. 145).
- ²³ Письмо к С. А. Толстой от 7 декабря 1864 г.— т. 83, стр. 86—87.
- ²⁴ А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 157.
- ²⁵ С. А. Толстая. Дневники, стр. 96. Запись от 27 августа 1866 г.
- ²⁶ С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 2, стр. 209.
- ²⁷ Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 23 февраля 1875 г.— АТ (далее сокращенно: Т. А. Кузминской).
- ²⁸ «Исповедь» от 7 декабря 1864 г.— С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. М.—Л., «Academia», 1936, стр. 49 (далее сокращенно: С. А. Толстая. Письма к Толстому).
- ²⁹ Письмо к С. А. Толстой от 10 декабря 1864 г.— т. 83, стр. 91.
- ³⁰ С. А. Толстая. Дневники, стр. 58. Запись от 23 ноября 1862 г.
- ³¹ С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 2, стр. 69—70.
- ³² Письмо от 13 июня 1871 г.— С. А. Толстая. Письма к Толстому, стр. 91—92.
- ³³ С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 2, стр. 65.
- ³⁴ Письмо от 7 декабря 1864 г.— С. А. Толстая. Письма к Толстому, стр. 49.
- ³⁵ Дневник от 23 января 1863 г.— т. 48, стр. 51.
- ³⁶ Письмо к Н. Н. Страхову от 6 ноября 1877 г.— т. 62, стр. 347.
- ³⁷ «Исповедь» — т. 23, стр. 10.
- ³⁸ Там же, стр. 11, 12, 15 (первая цитата — пересказ).
- ³⁹ С. А. Толстая. Дневники, стр. 41. Запись от 26 декабря 1877 г.
- ⁴⁰ Письмо к С. А. Толстой от 14 июня 1879 г.— т. 83, стр. 271.
- ⁴¹ «В чем моя вера» — т. 23, стр. 306.
- ⁴² Письмо от 28 августа 1880 г.— С. А. Толстая. Письма к Толстому, стр. 157—158.
- ⁴³ С. А. Толстая. Дневники, стр. 56. Запись от 13 ноября 1862 г.
- ⁴⁴ Дневник от 2 августа 1881 г.— т. 83, стр. 304—305.
- ⁴⁵ Т. А. Кузминской от сентября 1881 г.
- ⁴⁶ С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 3, стр. 652, 653.
- ⁴⁷ Источник цитаты не установлен.
- ⁴⁸ С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 3, стр. 666.
- ⁴⁹ Т. А. Кузминской от 2 мая 1882 г.
- ⁵⁰ Т. А. Кузминской от 8 и 30 января 1883 г.
- ⁵¹ «Так что же нам делать?» — т. 25, стр. 314.
- ⁵² Т. А. Кузминской от 15 ноября 1881 г., февраля 1882 г., 10 февраля 1883 г.

- ⁵³ Т. А. Кузминской от 7 ноября 1879 г.
⁵⁴ С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 3, стр. 616.
⁵⁵ Письмо к Л. Д. Урусову от 22 (?) мая 1885 г.— т. 63, стр. 251.
⁵⁶ Письмо к М. А. Энгельгардту от 20 декабря 1882 г. или 20 января 1883 г.—
 т. 63, стр. 112.
⁵⁷ Т. А. Кузминской от 28 ноября 1880 г.
⁵⁸ Письмо к С. А. Толстой от 23 октября 1885 г.— т. 83, стр. 521—522.
⁵⁹ Письмо к С. А. Толстой от 30 октября 1884 г.— т. 83, стр. 451.
⁶⁰ Письмо к С. А. Толстой от 26 сентября 1896 г.— т. 84, стр. 259.
⁶¹ Т. А. Кузминской от ноября 1885 г.
⁶² Т. А. Кузминской от 20 декабря 1885 г.
⁶³ Т. А. Кузминской от 14 марта и 1 апреля 1887 г.
⁶⁴ Письмо к С. А. Толстой от 23 октября 1891 г.— т. 84, стр. 87.
⁶⁵ Письмо к С. А. Толстой от 11 декабря 1891 г.— т. 84, стр. 107.
⁶⁶ Письмо к С. А. Толстой от 25 октября 1895 г.— т. 84, стр. 241—242.
⁶⁷ Письма к С. А. Толстой от 9 сентября и 9 или 10 ноября 1896 г.— т. 84, стр.
 255, 270.
⁶⁸ Письмо к С. А. Толстой от 12 мая 1897 г.— т. 84, стр. 283.
⁶⁹ Письмо к С. А. Толстой от 17 ноября 1898 г.— т. 84, стр. 334.
⁷⁰ Письмо к С. А. Толстой от 27 октября 1887 г.— т. 84, стр. 38.
⁷¹ Письмо к С. А. Толстой от 13 декабря 1884 г.— т. 83, стр. 466.
⁷² Письмо к С. А. Толстой от 12 сентября 1891 г.— т. 84, стр. 85.
⁷³ Т. А. Кузминской от 21 апреля 1891 г.
⁷⁴ Письмо к С. А. Толстой от 17 февраля 1897 г.— т. 84, стр. 278.
⁷⁵ Письма к С. А. Толстой от 18 и 15 сентября 1893 г.— т. 84, стр. 194, 195.
⁷⁶ Приписка к письму к С. А. Толстой от 18 февраля 1892 г.— т. 84, стр. 123.
⁷⁷ Т. А. Кузминской от 7 марта 1895 г.
⁷⁸ Т. А. Кузминской от 8 марта и 14 июня 1895 г.
⁷⁹ Письмо к С. А. Толстой от 12 декабря 1884 г.— т. 83, стр. 463.
⁸⁰ Письмо к С. А. Толстой от 26 октября 1891 г.— т. 84, стр. 89.
⁸¹ Письма к С. А. Толстой от 1 декабря и 29 апреля 1898 г.— т. 84, стр. 338, 308.
⁸² Т. А. Кузминской от 24 октября 1896 г.
⁸³ Письмо к В. А. Лебрену от 28 ноября 1899 г.— т. 72, стр. 250.
⁸⁴ Тайный дневник от 2 июля 1908 г.— т. 56, стр. 171—172.
⁸⁵ Письмо к М. С. Дудченко от 7 апреля 1908 г.— т. 78, стр. 114—115.
⁸⁶ Письмо к Б. С. Манджосу от 17 февраля 1910 г.— т. 81, стр. 104.
⁸⁷ Источник цитаты не установлен.
⁸⁸ Письмо к С. А. Толстой от 8 июля 1897 г.— т. 84, стр. 288—289.
⁸⁹ Письма к Т. Л. Сухотиной от 21 декабря 1902 г. и 2 июля 1907 г.— т. 73-74,
 стр. 350; т. 77, стр. 146.
⁹⁰ Дневник от 11 августа 1908 г.— т. 56, стр. 143—144.
⁹¹ Тайный дневник от 3 и 9 июля 1908 г.— т. 56, стр. 172, 173.
⁹² Письмо к Т. Л. Сухотиной от 23 сентября 1900 г.— т. 72, стр. 457.
⁹³ Дневник от 16 июля 1910 г.— т. 58, стр. 79—80.
⁹⁴ Дневник от 20 и 21 июня 1910 г.— т. 58, стр. 67—68.
⁹⁵ Дневник от 23 июня 1910 г.— т. 58, стр. 69.
⁹⁶ Дневник для одного себя от 9 августа 1910 г.— т. 58, стр. 132.
⁹⁷ Дневник от 25 и 26 июня и 11 июля 1910 г.— т. 58, стр. 69, 78.
⁹⁸ Дневник от 28 июля 1910 г.— т. 58, стр. 85.
⁹⁹ Дневник для одного себя от 29 и 30 июля 1910 г.— т. 58, стр. 129.
¹⁰⁰ Письмо к В. Г. Черткову от 2 августа 1910 г.— т. 89, стр. 199.
¹⁰¹ Дневник для одного себя от 2 августа 1910 г.— т. 58, стр. 130.
¹⁰² А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М.—Пг., 1923, стр. 190.
¹⁰³ Дневник для одного себя от 11 августа 1910 г.— т. 58, стр. 132—133.
¹⁰⁴ Письмо к В. Г. Черткову от 12 августа 1910 г.— т. 89, стр. 203—204.
¹⁰⁵ Дневник для одного себя от 5 и 6 августа 1910 г.— т. 58, стр. 131.
¹⁰⁶ Там же от 20 августа 1910 г.— т. 58, стр. 134.
¹⁰⁷ Там же от 14 августа 1910 г.— т. 58, стр. 133.
¹⁰⁸ Там же от 29 августа — 1 сентября 1910 г.— т. 58, стр. 135.
¹⁰⁹ Письмо к С. А. Толстой от 29 августа 1910 г.— т. 84, стр. 401.
¹¹⁰ Дневник для одного себя от 25 августа 1910 г.— т. 58, стр. 135.
¹¹¹ Там же от 10, 16—17 сентября 1910 г.— т. 58, стр. 136—137.
¹¹² Там же от 22 сентября 1910 г.— т. 58, стр. 137.
¹¹³ Там же от 24 сентября 1910 г.— т. 58, стр. 138.
¹¹⁴ Там же от 25 и 27 октября 1910 г.— т. 58, стр. 143.
¹¹⁵ Дневник от 28 октября 1910 г.— т. 53, стр. 123—124.
¹¹⁶ Дневник от 27 марта 1895 г.— т. 53, стр. 16.
¹¹⁷ Письмо к С. Л. и Т. Л. Толстым от 31 октября 1910 г.— т. 82, стр. 220—221.
¹¹⁸ Телеграмма сыновьям от 3 ноября 1910 г.— т. 82, стр. 224.
¹¹⁹ Ср.: С. А. Толстая. Автобиография. — «Начала», 1921, № 1, стр. 167.
¹²⁰ Ср.: «Летопись», II, стр. 836.